

Николай Иванович Ульянов

Атосса

От редакции

Идея предлагаемого читателю романа возникла у автора в годы минувшей войны. Поход персидского царя Дария Гистаспа в Скифию, в конце шестого века до нашей эры, понят им, как прообраз всех последующих великих походов вглубь России. Согласно Геродоту, он отмечен многими особенностями, характерными для вторжения Карла XII, Наполеона и Гитлера. Те же «двенадцать языков», участвовавших в нашествии, та же предельная для своего времени мощь и мобилизация сил, та же борьба с непреодолимыми пространствами и тот же финал — истощение и распыление армии, закончившееся полной гибелью. Две с половиной тысячи лет тому назад территория России служила ареной столь же грандиозных событий, что и в наши дни. Уже тогда она играла видную роль в судьбах мира. Разросшаяся до последних пределов империя Дария, включавшая пространство от Инда до Босфора и от Кавказа и Туркестана до Судана — нависла тяжелой угрозой над всем Средиземноморьем и, прежде всего, над Грецией — очагом и средоточием тогдашней культуры. С ее падением владычество Дария могло бы считаться, по тем временам, — всемирным. Но тут выступила скифская сила в лице полудикого, но воинственного степного народа, не сокрушив которого, нельзя было рассчитывать на покорение Эллады. По странной игре судьбы, северо-восточные варвары сыграли роль защитников мировой цивилизации. Они приняли на себя всю силу удара армады Дария.

В этой войне, разыгравшейся в степных просторах тогдашнего юга России и так хорошо описанной у Геродота, обнаружился тот особый способ ее ведения, что получил впоследствии название «скифского». Он был разработан и сознательно применен Петром Великим и Кутузовым, презрен Сталиным, за что русский народ поплатился неисчислимыми жертвами, и стихийно восторжествовал вопреки воле «гениального полководца». Это метод заманивания врага вглубь своих территорий, истребления всего лежащего на его пути, изматывания трудностями переходов и мелкими нападениями с целью нанесения в нужный момент окончательного удара. Когда Наполеон, разбуженный ночью, вышел на балкон Кремлевского дворца, он воскликнул при виде моря пламени: «Это скифы! Они уничтожают свои собственные города!» О сожжении ими своих городов повествует и Геродот. Читая его, трудно отделаться от чувства близости к нам этого далекого прошлого нашей страны, от сходства его тогдашних судеб с нашими судьбами. Показать эту близость и это сходство — одна из задач этой книги.

В историческом романе неизбежны отступления от подлинных фактов и явлений. Это законная дань беллетристической форме. Есть такие, вполне сознательные отступления и у Н. Ульянова, особенно в отношении героини романа — Атоссы, и всей любовной линии повествования. Но все важнейшие факты и общие контуры событий даны в соответствии с источниками и с литературой по этому вопросу.

Роман писался в трудных условиях беженства и «дипийного» существования послевоенных лет. Автору пришлось пройти через испытания, выпавшие на долю сотен тысяч новых эмигрантов. Попавший во время войны к немцам и депортированный в Германию в лагеря «остарбейтеров», он только в 1947 году смог выехать в Марокко, где проживает в настоящее время. Печатавшаяся в тетрадях «Возрождения» «Атосса» была им подвергнута значительной переработке и ныне выходит в новой, исправленной редакции.

На Босфоре

Надежде Николаевне Ульяновой.

I

В трюме стало темно. Фигуры гребцов едва виднелись. Проступали части тел, освещенных лиловым светом окон, в которые уходили древки весел, сделанных из цельных бревен. Под резкие звуки флейты и барабана сто восемьдесят человек, как один, нагибались и откидывались назад, наполняя трюм громом, скрежетом и чем-то, похожим на хохот гиены. Гребцы не знали ни цели путешествия, ни мест, мимо которых проходили, но когда надсмотрщик, указывая хлыстом, крикнул что-то другому, молодой раб припал к расщелине окна, и только удар бича заставил его откинуться и погрузиться во мрак. По скамьям пошла весть, что близок византийский порт и продолжительный отдых. Только теперь почувствовалась вся острота боли, накопившейся в руках и спинах: последние сутки гребцы работали без перерыва и с трудом двигали веслами. Зажгли светильники. Дощатое чрево триэры озарилось грязным коричневым светом. Проступило длинное ущелье, образованное тремя ярусами скамей с гребцами, сидевшими там, как павианы в клетках. Тела их лоснились от пота и космы волос ниспадали на зверские лица. Рабы не любили час зажигания огня: недра триэры становились похожими на склеп, а мрак в окнах таинственным и грозным.

Старший надсмотрщик всматривался в лица гребцов. Близость гавани оживила их, они гребли из последних сил, но делали это охотно.

В полночь в окнах левого борта блеснули огни Византии.

Некоторые рабы знали этот белый город на вершине холма, пропахший рыбой и кожами, с вздымающимся из-за стен портиком храма Диоскуров и головой огромного коня. Судно подходило к Босфору и скоро вошло в него, что почувствовалось по замедлению хода триэры.

Флейта и барабан неожиданно смолкли и рабы с наслаждением опустили вздувшиеся от напряжения руки. Многие сразу же заснули, упав на весла. Триэра остановилась. Слышно было, как к ней подходило судно. Оттуда раздался звонкий голос, говоривший долго и певуче. С триэры его о чем-то спросили и он снова запел, как жрец перед закланием жертвы. Потом послышался удаляющийся плеск весел, а на палубе триэры засуетились. Рабы спали и громко стонали во сне. Удар гонга не в состоянии был разбудить их. Тогда засвистели бичи. Люди поднимались с проклятиями, повода налитыми кровью глазами.

На бронзовом треножнике вспыхнуло яркое пламя, осветившее высокую фигуру Никодема в шлеме и с копьем. Стало так тихо, что слышно было, как вода лизала бока триэры. Никodem долго осматривал гребцов, впиваясь в каждое изможденное лицо.

— Все вы получите свободу в тот день, когда кончится плаванье. Но если завтра на рассвете триэра не будет за шестьдесят стадий отсюда, я прикую вас к скамьям двойными цепями и потоплю судно вместе с вами! Так я сказал.

Послышались вопли:

— Милосердия! Пощады! Мы умираем! Никodem исчез.

Надсмотрщики вкатили глиняные амфоры и стали раздавать пресную воду. Потом внесли ящик с землистыми лепешками и с тухлой рыбой, нарезанной кусками. При виде такой щедрости некоторые стали громко прославлять господина. Они ловили пищу налету, выхватывали друг у друга, ревели и дрались, звеня цепями. Когда кончилась кормежка, зазвучал гонг. Рабы положили руки на весла. Барабан и флейта начали свою мелодию, под которую рабы, как зачарованные, качнулись вперед, откинулись назад, и трюм снова наполнился грохотом. Триэра тихо тронулась. Музыка, медленная вначале, стала ускорять темп, заставляя толстые древки весел летать быстрее. Мелодия гребли завладела рабами, барабан стал владыкой триэры. Ни удары бичей из буйволово́й кожи, которые размякли от крови в эту ночь, ни скрежет весел не доходили до сознания. Только треск барабана сверлил

мозг и заставлял ускорять движения.

Достигли небывалой скорости. Лица рабов стали масками, в них не осталось ни отчаяния, ни злобы. По спинам текла кровь, смешиваясь с потом. Пар застилал огни светильников, садился на потолок, падал крупным редким дождем. Гребцам нехватало воздуха, и рты их широко открылись, как у мимов во время Дионисий. У кого-то хлынула кровь и он упал на древко. Подбежавший надсмотрщик исполосовал ему спину бичом, но раб оставался лежать. Двое других, продолжая грести, волочили взад-вперед его тело, повисшее на весле. Стали падать и на других скамьях. Надсмотрщики охрипли от крика. С тонкой пеной, стекавшей с губ, они метались, как рыси в клетке, свистя бичами.

Когда Никодем снова спустился в чад трюма, рабы не стонали и не просили пощады. Резкие звуки барабана и флейты цепко держали их в своей власти, не позволяя ни остановиться, ни замедлить темп. У флейтиста выкатились глаза и налились жилы на лбу, а барабанщик превратился в статую, у которой двигались одни руки. В трюме стоял лай Цербера и звон его цепи.

Никодем не спал в эту ночь. Палубная прислуга со страхом смотрела, как он, звеня доспехами, бегал от кормы к носу, вглядываясь в темному и скрипел зубами. Ему пришла мысль поднять парус. Никто не осмелился напомнить, что ветра нет; парус был поднят, но тотчас бессильно повис. Выхватив меч, Никодем стал его полосовать.

— С вами будет тоже, если мы не придем вовремя! — крикнул он дрожащим людям.

Приближался рассвет. Предметы на палубе стали серыми, но прошло много времени, прежде чем открылась гладь Босфора и края берегов. Волнение Никодема усилилось. Он снял браслет и бросил в воду. Следя за блеском тонущего золота, чуть слышно шептал молитву тому, которого с детских лет почитал больше других:

«Если ты ускоришь бег судна и не погубишь дела всей моей жизни, я принесу тебе царскую жертву и до смерти буду отличать перед всеми богами. Если же раб твой тебе не угоден и ты не дашь ему достигнуть цели, то приношу в дар тебе это судно. Но клянусь, оно пойдет ко дну со всеми людьми, чьи лень и коварство губят меня!»

Он ушел в шатер и устало повалился на ложе.

Из трюма доносился мерный стук весел. Босфор суживался, его берега, точно покрытые овчинами, грозили раздавить одинокую триэру. Местами они казались исцарапанными когтями льва и красное мясо их выступало наружу.

В воде розовыми устрицами всплыли облака, а на фракийском берегу вспыхнули верхушки буков и пиний, когда в шатер к Никодему вбежал кормчий.

— Господин, мы погибли! Путь прегражден!

В нескольких стадиях от триэры пролив пересекала темная цепь. Это было сооружение в виде точек, соединенных линией. По мере приближения оно становилось отчетливее и на нем заметили людей, крошечными песчинками бегавших взад и вперед. Ни один из рабов Никодема, проплывавших прежде Босфор, не видал этого. Знали, что всё побережье от Понта до Нила взволновано каким-то событием, но, постоянно пребывая в плаваниях, редко выходя на берег, ревниво оберегаемые от соприкосновения с людьми, они не имели ясного представления о том, что было известно уже всему миру. Старались прочесть что-нибудь на лице господина, но Никодем бледный, недвижимый, был похож на надгробное изваяние.

Слава богам! Мы пройдем!

Он велел трубить сигнал и зажечь курильницу. Повалил густой дым. Навстречу поднялись такие же столбы дыма и послышался комариный писк рожков. Люди Никодема только теперь заметили, что черная цепь, преграждавшая пролив, в одном месте разорвана и там виднелись темные массы кораблей. Прорвавшаяся глыба света залила Босфор. Открылась щетина мачт, снеговые массивы палаток по берегам и густой человеческий муравейник, сверкавший копьями и шлемами. С триэры теперь ясно видели, что заграждение представляло гигантский мост, повергавший в ужас своими размерами. Даже старый кормчий был подавлен. Сколько раз проходил он в этих местах, сопровождая господина, сначала отрока на небольшом судне, провозившем кратеры, вино и стутуэтки богов, потом

юношу, гордившегося доверием отца, отпускавшего с ним лимонно-желтые и оранжевые милетские ткани, наконец, бородатого мужа на гордой триэре, полной скифского зерна. И всегда Босфор был глухим, пустынным и опасным из-за разбойников. Теперь он кишел людьми и являл невиданное чудо.

С моста трубили и махали полотнищем, чтобы триэра ускорила ход. Но бег ее замедлялся. Гребцы выбивались из сил. Тогда, ворвавшись в трюм, Никодем проколол мечом первого попавшегося надсмотрщика и раскроил голову сидевшему поблизости рабу. Он пообещал всем верную гибель, если они не напрягут последних сил.

С моста летела яростная брань; судно грозили не пропустить, если оно не поспеет во-время. В течение четверти часа на триэре воцарились ад и остервенение. Меч Никодема блестел в смрадном тумане трюма и надсмотрщики сжились с мыслью достигнуть моста обезображенными трупами.

Когда Никодем поднимался наверх, триэра уже вступала в пролет. Мелькнула линия кормовых частей судов, поддерживавших мост, бесконечные перила, груды досок и пестрые лохмотья рабов, глазевших сверху.

Мост был пройден.

Никодем пал перед жертвенником. Дым от благовонных курений разнесся по палубе, а из трюма выносили лоснящиеся тела рабов. Из рта и из ушей у них лилась кровь.

II

Пройдя мост, Никодем долго не мог найти места для причала: на протяжении нескольких стадий, вдоль берегов, стояли густые ряды кораблей. Триэра бросила якорь почти посередине пролива. К ней подошла лодка и на палубу поднялись длинноволосые персы в тяжелых одеждах с кистями. Они спрашивали, куда идет триэра и зачем? То были царские распорядители.

Никодем провел их в шатер на корму, посадил в кресла из душистого дерева и велел умастить руки и бороды благовониями. Потом поднес каждому по красивому браслету, а на шеи возложил посеребренные цепи. Он объяснил, что плывет из Библоса в Синоп с грузом благовоний и египетских тканей. Персы благосклонно выпили вино, нубийские финики им очень понравились и, съев их целое блюдо, попросили еще. Развеселившись, стали смеяться и обнимать Никодема. Перед уходом старший хорошо отозвался о подарках, но выразил сожаление, что его ничем не отличили перед подчиненными. Никодем поднес ему слоновый клык и ларец с ладаном.

Когда персы уехали, на триэру прибыл маленький юркий лидиец. Он был долгое время рабом-номенклато-ром у родовитого афинянина и знал всех известных людей в Аттике и на Истме. Теперь он получил свободу и сам имел много рабов, доставлявших ему всевозможные сведения. Этими сведениями он торговал и составил большое богатство. Его знали от Коринфа до Суз и на всем этом пространстве не существовало ни одной тайны, которая не была бы ему известна. Он знал содержимое караванов, пересекавших сирийскую пустыню, вел счет золота и слоновой кости в подземных кладовых финикийских купцов; механизмы всех заговоров, при больших и малых дворах — были открыты ему в полной мере. Лукавый взор его проникал в сумрак геникея, за тонкий полог кровати. Это он был причиной гибели Алкиной, открыв ее мужу, самофракийскому архонту, любовную связь ее с собственным братом. Он был вхож во дворцы всех тиранов и получал от царя щедрое жалованье за то, что сообщал о намерениях греков. Зная секреты царского двора, он продавал их за высокую цену сатрапам далеких провинций и тиранам греческих городов. Сейчас он разбил шатер на Босфоре и рыскал, как крыса.

Никодем хорошо знал этого человека и рад был услышать от него новости, но ему было известно страстное желание лидийца узнать нечто о нем самом и о содержимом его триэры, поэтому он сразу отвел его на корму и велел задернуть шатер.

— Поздно же ты прибыл, Никодем; опоздай твоя триэра еще на час, ей бы никогда

больше не бороздить Понта. Впрочем, неизвестно, что лучше: остаться по ту сторону моста и иметь возможность плавать по всем морям или проникнуть в дикий Понт и потерять надежду на возвращение? Тебе теперь надо продать судно в каком-нибудь порту и обратно идти сушей. А судно у тебя чудесное, это сам божественный Арго. Надобно ожидать неслыханных барышей от поездки, чтобы решиться потерять такой корабль. Для кого ты копишь богатства, Никодем? Ведь у тебя ни детей, ни наследников, а сам ты мог бы до конца дней мирно жить в Милете в довольстве и славе. Что заставляет тебя в такое грозное время совершать рискованное путешествие на край света?

Никодем улыбнулся.

— Мощью царя царей и милостью Агура-Мазды края света скоро будут расширены.

Лидиец вдруг надулся и принял важный вид. Он еще в Афинах беседовал с мудрецами и всегда полагал, что усвоил много знаний.

— Ты не знаком с философией, Никодем, иначе *бы* не говорил таких смешных вещей. Кто из смертных может расширить края света, очерченные великими богами? Да будет тебе известно, что достигнуть края света можно, но изменить его никому не дано. Ведь для этого надо было бы огромное множество воздуха сгустить до плотности земли, а от этого нарушилось бы соотношение частей материи, установленное богами. Воздуха и без того становится мало, это давно заметили те, кто поднимались на высокие горы. Если же совершить его превращение в землю, он совсем исчезнет и всё живущее погибнет.

— Но почему же, Ардис, воздуха становится мало и куда он пропадает?

— Он улетучивается в пустоту, окружающую землю.

— О, Ардис, — усмехнулся Никодем, — когда это успели тебя одурачить наши милетские ослы? Они всем прожужжали уши своей пустотой и своим воздухом. Ведь не пустота, а вода окружает землю: мы живем на гигантском острове и то, что называем морями — не более, как озера и лужи на нем. И сам воздух не более, как особое состояние воды. Разве не поднимается он целыми облаками с морей и рек и разве не падает сверху дождем, когда сгущается?

Лидиец горячо возражал. Он утверждал, что те, кто так думают, сами наполнены водой и мысли их не более, как болотные испарения.

Никодем сдержался.

— Хорошо, Ардис, если ты прав, то на краю земли, надо думать, воздух очень редкий и мало воды; между тем, там густой и ароматный воздух, льют сплошные дожди и все реки текут оттуда. Не знак ли это, что не пустота, а океан окружает землю.

Лидиец побледнел от злости.

— Скоро увидим, кто прав. Когда любимые тобой варвары будут загнаны на край вселенной, посмотрим, куда они будут падать, в море или в бездну?

— Любимые мной варвары?..

Схватив лидийца за горло, Никодем чуть не всадил ему нож, но тот сделал предостерегающий знак.

— Не спеши. Мне не суждено погибнуть от твоей руки.

— Ты в этом уверен?

— Так же, как и ты. Я всегда знал, что ты честный торговец и платишь аккуратно. Ты не прибегнешь к недостойному убийству, чтобы уклониться от платы. А заплатить ты мне должен дважды: один раз за сохранение твоей тайны, а другой раз за тайны чужие, которые тебе необходимо узнать.

— Будь проклят, подлый шпион! Я не нуждаюсь в твоих сведениях, а тайны у меня никакой нет.

— Верно ли это, Никодем? Неужели я ошибся, следя за тобой последний год и рассчитывая получить целое состояние? Нет, Ардис никогда не ошибался. Те три золотых таланта, что я должен получить с тебя, уже предназначены в качестве ссуды финикийцу Сихею. Он поплывет на Закат в страну Таршиш, где серебро вытекает прямо из расщелин гор, он привезет его полный корабль и половина будет мне по договору. Я непременно

должен получить с тебя три таланта. Сихей обещал привезти камень прозрачный, как вода. Если в него смотреть, можно видеть морскую глубь до самого дна. Он дает власть над нереидами и позволяет каждое новолуние вызывать их к себе на ложе. Я непременно должен получить три таланта.

Никодем с трудом заставил себя усмехнуться.

— Долго пришлось бы ждать твоему Сихею. Три таланта могли бы быть получены только при моем возвращении в Милет.

Лидиец от восторга подпрыгнул на своем сиденье, а потом, вскочив, стал приплясывать, напевая веселую песенку. Еще миг и Никодем раскрыл бы ему голову мечом, но тот, словно читая его мысли, остановился.

— Это самая веселая минута в моей жизни, Никодем, и ты мне ее доставил. Я бы охотно продлил свое веселье, если бы не считал святотатством смеяться над таким разумным мужем, как ты. Зачем ты себя унижаешь, прибегая к детским хитростям? Или ты не знаешь, кто я? Мне ли не известно, что в Милет ты больше не вернешься, что все свои оливковые рощи, виноградники, ткацкие мастерские, рабов и самый дом свой ты продал, превратил свое богатство в золото и драгоценные вещи и всё это хранится теперь в недрах твоей триэры? Мне ли не известно, что ты плывешь на...

Рот его широко открылся, а глаза стали выползать из орбит. Железные пальцы Никодема сжимали ему горло так, что оно начинало хрустеть. Лидиец перестал мотать руками и лицо его посинело, когда испугавшись, Никодем бросил свою жертву на пол. Сначала он молча смотрел на неподвижную фигуру маленького человечка, потом, опустившись на колени, стал ощупывать и подносить ладонь к оскаленному рту. Убедившись, что лидиец дышит, он поднял его на ложе и влил в глотку вина. Придя в себя, Ардис долго молчал. Потом заговорил, не открывая глаз.

— Благо тебе, Никодем, что твой рассудок одержал верх. Не вернись я отсюда до полудня, всё было бы известно Гистиею.

При имени Гистиея Никодем смутился.

— Но я знал, — продолжал лидиец, — что ты мудр и не захочешь кончить своего дела здесь на Босфоре, не достигнув желанной варварской земли. Ты велик, Никодем, тебе предстоят большие дела, поэтому ты заплатишь мне три таланта за свою тайну, а за обиду дашь в придачу алавастр полный пурпура. Для твоего золота приготовлены уже ларцы из мертвого дерева самшита они так тяжелы, что пустые тонут в воде, медная секира отскакивает от них, как от камня. В них буду я хранить твое золото, Никодем. Дай мне еще вина.

— Собака ты, Ардис! Тебя не женщина родила, а сам Цербер изрыгнул, как блевотину! Я устал от болтовни с тобой. Бери свой талант серебра и убирайся в Тартар!

Лидиец хихикнул.

— Серебра, сказал ты? Ты ошибся, Никодем, не серебра, а золота, и не талант, а три таланта. Талант серебра потрачен был на то, чтобы следить за тобой. Твои гетеры и рабыни дорого продавали твои тайны. Моему человеку понадобилось двести драхм, чтобы нарядиться вавилонским купцом и вступить в связь с Коринной, с той самой, что ты отпустил на свободу перед отъездом. Не хватайся за меч, Никодем, ты ее больше не увидишь... А сколько потрачено, чтобы завлекать в притоны на Самосе твоих афинских друзей, когда они, побыв у тебя, возвращались домой? Твои друзья прекрасные люди и полны возвышенных мыслей, но они слепнут при виде девки, поднимающей подол, и уже не видят вертепа, в который ведут их грешные ноги... Нет, Никодем, жидкий звук серебра пусть не омрачает нашей беседы, да будет она полна торжественного звона золота!

— Не два же таланта я должен дать тебе, проклятая гиена?

— Ты прав, Никодем, не два, а три. За два таланта я мог бы тебя без особых хлопот продать Гистиею, но так как я этого не сделал, я хочу, следовательно, получить три. И ты, как разумный человек, должен признать, что это не дорого. Это всего лишь десятая часть твоих богатств. Остальное ты можешь употребить на свое дело. Я знаю, как много у тебя

расходов впереди и беру скромную плату. А теперь, Никодем, открой шатер. Видишь там, на самой высокой террасе, палатки с зелеными верхами? Это шатры Гистиэя — лучшего слуги царя и твоего врага. Он и здесь, как перед троном, занял самое видное место. Твоя триэра кажется ему скорлупкой, он не спускает с нее глаз и рвет барсову шкуру на своетм ложе, стараясь придумать средство погубить тебя. Посмотри теперь на эти суда, что стоят сбоку. Это корабли Гистиэя. Взгляни на стоящие спереди: это флот хиосцев, верных друзей Гистиэя. Ты в западне, Никодем, и должен принести жертву богам, что я беру у тебя только три таланта, а не половину содержимого твоей триэры. Никодем молчал. Глаза его в бешенстве обращались то на береговые высоты, где белели шатры, то на маленького лидийца, удобно развалившегося на ложе.

— Хорошо, Ардис, я дам тебе всё, что ты просишь, я дам тебе больше, если ты будешь доставлять мне нужные сведения, но да хранят тебя боги, если вздумаешь обмануть и предать меня. Тогда лучше бы тебе не родиться!

— Вот это речь почтенного человека и испытанного торговца. Будь спокоен, Никодем, я знаю, что ты лев и способен даже в момент агонии задушить в когтях такого пигмея, как я. Я не рискну играть с тобой. Будь здоров и готовь три таланта золота.

III

Слух о прибытии Никодема, первого богача Милета, облетел оба берега. Все знали, что тканями, которыми он снабжал Аттику и Пелопоннес, можно было устлать Босфор, а зерном, вывозимым из Скифии, накормить целое войско. Многие давно добивались его благосклонности и теперь, надев чистые одежды, спешили к нему на корабль. Тираны, лично знавшие Никодема, отправили посланцев, чтобы приветствовать его, поднести дары и получить в ответ еще более ценные подарки. Корма триэры наполнилась оливковыми и пальмовыми ветками, присланными в знак мира и дружбы.

Прибыл посланный от Мильтиада, владельца Херсо-неса Фракийского. Он привез серебряную рыбу с глазами из изумруда и с перламутровым хвостом. Простершись на палубе, посланный молил почтить своего господина и посетить шатер его на фракийском берегу.

С наступлением сумерек Никодем отправился.

Красивый Мильтиад уже стоял, окруженный свитой рабов, и, взяв гостя за руку, провел в палатку. Там, возлегши за столом, они вспоминали дружбу отцов, собственную юность, как еще совсем недавно, радостные и гордые шагали в афинских рядах, готовые отразить ненавистного Гиппия.

— Мы не были афинянами, Мильтиад, и Гиппий не угнетал нас, но мы боролись с ним потому, что ненавидели всякую тиранию. Не мечтали ли мы, изгоняя его из Афин, изгнать когда-нибудь из Ионии и его варварского покровителя? А теперь?.. Не одна Иония, но вся Эллада станет завтра добычей деспота и ты, Мильтиад, устилаешь его путь своими одедами.

Мильтиад опустил голову.

— Я уже думал об этом... Увы! Что могу сделать я для Эллады? Выступить с горстью людей? Сжечь мост и обречь на варварское разорение всё побережье и твой родной Милет?

— Наша отчизна погибнет из-за безукоризненно правильного умения мыслить, — воскликнул Никодем. — Надо выступить, а потом раздумывать. У меня нет войска и нет кораблей, — одна триэра, — но я выступил, я иду на врага. Милет мой для меня не существует, там не осталось ни моего дома, ни моих богатств; всё, чем я владел, находится здесь на триэре. Ее палуба — площадь первого в мире государства, объявившего войну деспоту. Ты назовешь мое предприятие безумием, быть может, это так, но когда я услышал о невероятном замысле нашего владыки, я счел это еще большим безумием и, не колеблясь, противопоставил ему свое собственное. Которое победит? Одно знаю: нет случая более удобного, чтобы избавить мир от деспота. Знаю также, что если его поход увенчается

успехом, Эллада погибнет.

Никодем задумался. Вино его из чаши тихо лилось на ложе. Мильтиад позвал флейтистов и танцовщиц, на гость продолжал оставаться рассеянным. Тогда он велел принести серебряный лекиф искусной работы и поднес в дар Никодему. Тот безучастно рассматривал его, слегка повернув голову. Лицо его внезапно оживилось, он схватил блестящий сосуд и любуясь воскликнул:

- Лучшего подарка ты не мог мне сделать, Мильтиад.

Из гладких стенок лекифа выступали округлости женщины, ноги которой сливались в змеинный хвост, крутившийся упругими кольцами. За спиной стояла четверка лошадей, а лицом она обращалась к могучей мужской фигуре с луком и стрелами в руках. То был приход Геракла в пещеру Ехидны в поисках украденных кобыл. Прищурив глаза, Никодем всматривался в косматую злобную голову женщины-змеи.

— Она достойная праматерь этих варваров! Волосы у нее были желтые, как солома, а глаза цвета озерной воды. Но какие молнии могут метать эти глаза! Мы, эллины, никогда на это не способны, черные глаза ассирийцев просто жестоки, а вращающий белками эфиогт смешон. Только эти бездонные водяные глаза способны рождать первобытный гнев. Наполни сосуд лучшим вином, Мильтиад, и выпьем за великое потомство Геракла и Ехидны. Не ему ли ныне надлежит спасти мир?

Мильтиад покачал головой.

— Ты скоро излечишься от своей болезни. Твои белоглазые варвары обречены, и мне грустно, что ты стремишься разделить их судьбу. Останься, пока не поздно.

Ты, Мильтиад, преувеличиваешь силы царя и преуменьшаешь доблесть варваров. Не от них ли пал всемогущий Кир?

Мильтиад стал уверять, что теперешние скифы не те, которые некогда уничтожили Кира. Те жили на другом конце света, в стране кассиев, они были смуглые, с раскосыми глазами. То были знаменитые Енареи, которых оскорбленная Афродита Целестинская поразила ужасной болезнью. Тот народ был могущественный, он опустошил Сирию, сокрушил Ниневию, но боги рассеяли его и ныне о нем ничего не слышно.

— Тот народ существует, Мильтиад, и я его скоро увижу. Это те же скифы. Они многочисленны, как степная трава, и обитают во всех концах земли. Киру пришлось иметь дело с одной их частью. Ныне они встанут, как небесная гроза, и новому Киру суждено испытать судьбу своего предка. Я верю, что его длинноволосая голова тоже будет брошена в кожаный мешок, наполненный собственной кровью.

Беседа друзей затянулась далеко за полночь. Расстались, когда в шатер через треугольное отверстие потянуло утренней сыростью с Босфора. Суда, загроздившие пролив, походили на спящих крокодилов. Лагеря тиранов, окруженные земляными валами, тоже спали, когда Никодем в сопровождении легкой охраны стал спускаться с берега. Только царские рабы были подняты на ноги. Они помещались в лагере, обнесенном частоколом, и жили без палаток под открытым небом. Страшное зловоние несло из их логова. Чуть свет их выгоняли на работу, и сейчас они выходили из ворот ограды, подхлестываемые бичами. Сонные, с искаженными лицами, шли густым стадом, прижавшись друг к другу. Многие были совсем голые, другие едва прикрыты лохмотьями. Три месяца назад их пригнали на заросшие берега Босфора, где обитали только медведи и кабаны. Рабы рубили лес, прокладывали дороги, носили бревна из глубины фракийских гор, выравнивали площадки для лагерей. Но не успел придти флот, не успела начаться постройка моста, как половины их не стало. Они десятками тонули в Босфоре, падали в лесу и по дорогам, оставались по утрам лежать в лагере, откуда их выволакивали за ноги и бросали в воду. Убыль пополнялась новыми тысячами. Сейчас у них пробудилась надежда остаться в живых: мост закончен и очищался от хлама.

Никодем отвернулся, чтобы не смотреть в сторону моста, и хотел ускорить шаги, когда услышал голос, порицавший его за гордость и высокомерие. Он обернулся и почтительно склонил голову.

- Щит города! Надежда Милета! Достопочтенный Гистизей! То, что ты считаешь гордостью, простая рассеянность. Я не предполагал в столь ранний час тебя встретить здесь. К тому же мысли мои отвлечены были заботами.

- Охотно верю, у Никодема всегда свои заботы, отличные от забот Милета. Не так ли и теперь? Весь город напрягает силы, чтобы достойно снарядить флот по приказу царя, один ты печешься об умножении своих богатств, которых у тебя и без того больше всех.

Никодем горячо возражал. Он ли не радел общему делу и он ли пожалел что-нибудь для Милета?

- Слов нет, ты не жалел жертв, преследуя свои безумные планы, направленные к гибели отчизны.

- К гибели ее врагов, Гистизей!

- Не хочешь ли сказать, что и я враг? Ведь предметом твоих козней был прежде всего я.

Никодем понизил голос и почти шопотом произнес:

- Когда-то мы были друзьями, Гистизей, и ныне я готов снова стать твоим другом; устрани только препятствие... Ты знаешь, о чем я говорю. Гистизей вскипел.

- Ты безумец, Никодем, но ты хитер и опасен в своей безумии! Знай, что я не малое дитя, неспособное заметить пропасти, в которую его увлекают. Гистизей сумеет сделать эту пропасть могилой своих врагов.

IV

С кормы триеры Никодем рассматривал широкие, с куполообразными верхами палатки самосцев. Глядя на них, он каждый раз приходил в волнение. Однажды отплыл на азийский берег и извилистой тропинкой поднялся к самосскому лагерю. Перед большим шатром стояло воткнутое в землю крылатое знамя на золоченом древке. В шатре было сумрачно и сыро. Посередине стоял каменный стол, заваленный папирусами. Никодем долго озибался, пока не заметил человека в массивном мраморном кресле. Он казался усталым.

— Не знаменитого ли Мандрокла я вижу перед собой?

Сидевший ответил не сразу.

— Если, назвав меня знаменитым, ты вложил в это насмешку, то ты не более, как фронт, подкрашивающий щеки и брови, чтобы нравиться распутным девкам. Если же ты сделал это потому, что услышал мое имя из двух-трех случайных уст, то ты вполне достоин той суетной толпы, что видит славу в частом повторении имени, а не в великом деянии, которого не может понять.

— Теперь я не сомневаюсь, что ты Мандрокл. Кому, как не рабу всемирного деспота, пристала такая гордыня? Но не думай, Мандрокл, что слава, которую ты создал, послужит к украшению твоего имени. Трижды лучше умереть безвестным, но любимым согражданами, чем жить в веках проклинаемым потомством! Подумай, с чьими лаврами переплетется твой лавр? Для чьей статуи строишь ты пьедестал? И неужели не пугает тебя клеймо врага отчизны? Ведь с той минуты, как варварские полчища ступят на твой мост, ты будешь проклят вовеки. Сожги его, Мандрокл, пока не поздно, и ты прославишься этим больше, чем строительством! Ты явил миру свой гений в создании невиданного сооружения, теперь яви величие гражданина уничтожением своего детища. К тебе взываю я — Никодем из Милета. Я весь свой дом, всё богатство и самую жизнь приношу в жертву отчизне. И вот я требую от тебя жертвы во имя ее.

Мандрокл молчал, потом поднявшись, взял за руку Никодема.

— Пойдем со мной.

Выйдя из шатра, они блуждали запутанными тропинками среди земляных валов, бревен и куч мусора.

Когда кончился этот лабиринт грязи и хлама, открылась ровная дорога. Она выходила из-за холмов прямо к Босфору. Мандрокл вывел спутника на ее середину и, повернув к проливу, сказал:

— Иди.

Гладко вымощенная, посыпанная блестящим песком, она украшена была разноцветными копиями, воткнутыми по краям. В простоте, строгости и благородстве ее очертаний было нечто, поднимавшее дух. «Только колесницам богов ходить по этой дороге!» — подумал Никодем. Могучий разбег ее вынес на мост.

Двести больших кораблей, соединенных попарно, держали его на своих спинах. Укрепленные якорями, каменными глыбами на толстых канатах, они стояли недвижимо, как скалы, и для защиты от напора волн перед ними вытянулась линия мелких судов, грудью встречавших течение.

Посмотрев на выющиеся кольца и воронки, уходившие в пролеты, Никодем почти осязательно ощутил страшную толщу воды, шедшей из Понта, и мощь противопоставленного ей сопротивления. Он не видел толстых бревен и железных креплений, положенных на борта кораблей, но чувствовал их во всем прочном и уверенном облике моста. Когда ступил на его гладкую поверхность, устланную досками из кедра, он испытал ощущение затерянности среди этой шири. Его тотчас схватили нескончаемые линии дубовых перил, сверкавших скрещенными секирами и золочеными щитами с парящими над ними серебряными крыльями знамен. Они увлекали вдаль к победному, шумящему. Ноздри его раздулись, как у боевого коня. Он ловил себя на желании вихрем промчаться по кедровому настилу и чувствовать за собой грохот многих тысяч подков. Рванувшись в простор моста, далеко оставил Мандрокла и остановился только на середине Босфора. Великая гордость захлестнула его при виде царственной высоты моста, взнесенного над водами и над стадом кораблей, как торжество необъяснимого, нездешнего, что есть в человеке.

— Что ты мне скажешь теперь, Никодем из Милета?

Никодем смущенно отошел к перилам, уставился на воду, а потом, быстро обернувшись, воскликнул:

— Живи многие лета, Мандрокл! Пусть народы воюют, тираны угнетают — художник, посланец богов, он делает одно прекрасное. Благословенно имя твое! Прости и будь мне другом.

V

Сорок восемь народов, носивших ярмо Великого Царя, были встревожены его намерением потрясти вселенную своими подвигами. Уж много лет колесницы его стояли, покрываясь пылью и ржавчиной, а боевые кони мирно паслись в долинах Элама. Теперь он требовал со всех земель новых коней и тысячи колесниц. Из каждой сатрапии, из каждого подвластного царства в Сузы стекалось золото, верблюды, кони и воины. Народы бросали нивы и пастбища, брали мечи и, простившись с родными хижинами и богами, шли умирать во имя того, кто правил ими милостью Агура-Мазды. От Армении до Нубии — женщины, дети и старцы плакали, надрывая сердца уходившим. Воины не надеялись вернуться назад. Поход, задуманный царем, носил признаки безумия. Он хотел их вести против неизвестного народа, места обитания которого никто не знал. Одни думали, что оно за океаном, другие — на берегу океана, но все знали, что там — конец света и чаша небес касается краями земли.

Со всех концов царства поднялись босоногие оборванные пророки, предрекавшие гибель. Они взбирались на городские стены, выходили на площади, становились на перекрестках дорог и со страшным воплем и кривляньями выкрикивали предсказания, от которых кровь останавливалась в жилах. Особенно страшный пророк явился в Сирии. Он спускался с Ливана и, встав на голой скале близ дороги, рвал длинную бороду, крича на всю пустыню:

— Горе сосущим и кормящим грудью! Горе покоящимся под сенью сильных! Вот встали сильные и пошли и ветер развеял прах их! Вижу, встает орел от Востока, поднимается конь от Запада; зубы его, как мечи, и грива тьмой обнимает вселенную. Берегитесь зубов его, ибо стонать вам под копытами его!

В Гиркании из пещеры вышел прокаженный и потребовал, чтобы царю рассказали его сон. Он видел, будто царское войско, выстроенное на необозримой равнине, превратилось в мышей.

Даже Атраваны были мрачны. У некоторых из них погас вечный огонь на атеш-гахе.

Царь приказал гнать прорицателей, но сатрапы, напуганные знамениями, неохотно выполняли повеление. Они высылали пророков из одной области в другую, способствуя распространению их страшных предсказаний. Народ роптал. В Сузах на улицах с плачем простирали руки к царю с просьбой не трогать сыновей, мужей, отцов. Недовольство проникло во дворец, им оказались захвачены высшие сановники. Сам брат царя Артабан был против похода и отговаривал Дария.

Царь остался непреклонным. Пророков он велел схватить и распять на щитах, расставив их по дорогам и на улицах. Трех сатрапов, покровительствовавших пророкам и сеявших смуту, привезли в Сузы, прикованными к колесницам. Их, вместе с семью другими царедворцами, бросили в львиный ров. Царь заставил весь двор и брата своего Артабана смотреть, как звери терзали противников его воли. В народе тоже произведены были избиения. Каждый день проносили по улицам воткнутые на копья руки, ноги, головы тех, кто осмеливался плакать и просить царя избавить от похода своих близких.

Между тем, шли войска от Египта, Ливии и Сирии, тянулись отряды от хорезмийцев и согдийцев, от армянцев и каспиев. Медленными потоками вливались они, как в широкую реку, в царскую дорогу, тянувшуюся от Суз на Сарды. В Сузы каждый день вступали войска и с шумом проходили через город. По мере их прибытия ропот стихал, головы поникали и вскоре над столицей веяла, подобно горячему ветру пустыни, одна сила, одна воля — железная воля царя.

Но Дарий хотел слышать суждение умнейших, хотя и коварнейших из своих слуг — тиранов эллинских городов, расположенных по азиатскому побережью. Они были вызваны в Сузы.

Советы их были различны. Одни, тяготившиеся властью царя, втайне радовались его безумному предприятую и горячо советовали продолжать задуманное. Они надеялись на гибель его в походе. Но милетский тиран Гистий задан вопрос: известно ли царю, чтобы он, Гистий, подавал когда-нибудь совет, клонившийся не ко благу царя? Дарий признал, что этого еще не было. Тогда Гистий предложил немедленно отказаться от похода.

— Ты идешь, царь, в страну, о которой мир до сих пор ничего не знает. Известно лишь, что она необъятна, как море, и такая же пустынная. Какие богатства хочешь ты почерпнуть там? Завоевав ее, ты не украсишь своего венца и не приобретешь новых слуг. Народ, населяющий ее, нищий и дикий, он не строит жилищ и не приумножает богатств неустанным трудом, но, подобно сухому листу, гонимому ветром, бродит по своей земле и питается грабежом чужих стран. Его ли ты хочешь покорить? Знай, что страна та отделена от твоих владений бурным Понтом и трудно доступна. Вошедшее туда войско подвергнется многим случайностям и тяготам. Неразумно заводить его так далеко от родных селений.

Дарий долго молчал, потом проговорил в раздумьи:

— Ты мудр, Гистий, но в тебе говорит грек. Я не уверен, твой ли собственный голос слышу или голос над-менных афинян, опутывающих мое имя сетью лжи и боящихся, как бы я не стал твердой ногой на фракийском берегу? Но этот день придет и очень скоро.

С этими словами царь отпустил тиранов, приказав им вернуться на Босфор, где собирався флот и строился самый большой мост, когда-либо виденный человечеством. Царская дорога, продолженная от Сард до Босфора, подведена была к самому мосту. По ней день и ночь шли войска, скапливавшиеся на азийском побережье.

VI

Однажды по кораблям самому прошла весть о прибытии царя. Копья и шлемы засветились заискивающим блеском, тысячи глаз обратились на береговые холмы, за

которыми в течение дня и ночи отдыхал Дарий от пути. Рано утром его носилки, подобные большому шатру, появились над Босфором.

Никодем, дремавший на шкуре, был разбужен ревом труб, звоном щитов и взрывом десятков тысяч голосов, нараставших с каждым мгновением. Стройные греки, закинув в небо косматые гребни шлемов, потрясали оружием, махали разноцветными тканями. Все были обращены в ту сторону, где из расщелины холмов медленно вытекал сверкающий поток и колыхался яркий, как пламя, балдахин. Остановившись короткое время на возвышении, он грузно поплыл вдоль берега. Столбы синеватого дыма поднялись с кораблей, наполняя Босфор ароматом курений.

В этот день Дарий хотел видеть море.

Его балдахин внесли на большой финикийский корабль, поднявший красные и желтые паруса. Босфору — сыну Понта — приказано было бережно нести триэру царя царей под страхом гнева и кар повелителя вселенной. Царь отплыл в сопровождении множества кораблей.

Там, где высокая скала с белеющим храмом на вершине стережет вход в Босфор, где открывается вечный Понт, он сошел с корабля и поднялся на гору.

Море встало перед ним стеной расплавленного олова. Царь впервые видел Понт. Захваченный его мощью и блеском, он хотел назвать его своим братом, но ощутив равнодушное дыхание, был обижен и обратился к Азу-ферну с вопросом — достоин ли Понт считаться равным царю? Ответ Азуферна потонул в возмущенных возгласах придворных:

— Ничто не может быть равным тебе, владыка. Даже океан. Море твой раб — такой же, как мы. Не милостивого слова, но бича достойно оно.

Царю подвинули высокое кресло из слоновой кости и хором умоляли не стоять перед Понтом.

Сев на трон, Дарий долго раздумывал — сделать ли Понт сатрапом или оставить в числе подвластных владык? Он уже нашел его скучным и хотел уйти. Тогда взор его, блуждавший по горизонту, обратился под ноги и на скатерти моря заметил пролетающую белоснежную птицу. Он подался вперед и остался неподвижным. Обольстительная бездна Понта открылась ему в этот миг. Она была подобна то плесени бронзы, то играла переливами перламутра, принимала фиолетовый, почти черный оттенок. В белых точках, вспыхивавших на поверхности, царь угадывал бакланов и альбатросов, взлетающих и вновь садившихся на волны. Самый шум волн долетал, как пение мухи.

Так сидел Дарий, пока солнце не склонилось и море не потемнело.

Свита молчала. Только Азуферн, счастливый недавним вниманием царя, решился заговорить, но при первых же словах Дарий знаком велел сбросить его со скалы.

Распластавшись одеждой, сатрап тихо поплыл в темнеющую лазурь.

Дарий встал, когда солнца не было. Море свинцовой стеной упиралось в бледное небо и царь ощутил его, как дорогу в неизвестное. Подозвав Гистиэя, он указал на горизонт.

— Что там?

— Там мрак и скифы.

Когда он спустился со скалы, горели звезды, черные валы несли шумные вести из неведомых стран.

Взойдя на корабль, царь милостиво принял Понт в число своих слуг, бросив в волны золотую диадему.

VII

Ардис часто бывал на триэре, пил кипрское вино, ел дорогие яства и много болтал. Он описал расположение флота. Впереди, ближе к Понту, поставлены тяжеловесные финикийские пентэры, укрепленные множеством якорей и каменных глыб. Они поставлены так, чтобы своими корпусами защищать остальной флот от вод, идущих с моря. На них много воинов, но они так громоздки, что им нужно не меньше часа, чтобы сняться с якоря.

Остальные корабли в состоянии будут развернуться после того, как двинутся передние ряды. Флот заперт между мостом и финикийскими гигантами. Лишь несколько небольших судов могут свободно двигаться по открытой середине пролива.

Никодем, после ухода лидийца, велел поднять все якоря и держаться на одном носовом. Весла, убранные внутрь, снова выдвинули наполовину из окон, а гребцов, отдохавших в отдельном помещении, приковали к веслам. Их хорошо кормили, давали мясо, рыбу, вино, но они должны были спать, сидя на скамьях, и быть готовыми в любой момент начать работу. Палубной прислуге роздали метательное оружие, а на носу и на корме поставили снаряды, выбрасывавшие густые пучки стрел и копий.

Однажды Ардис, едва успев вскочить на палубу, стал, захлебываясь, рассказывать о царской трубе, привезенной на азиатский берег и поставленной у входа на мост. Это — золотое чудовище, тридцати локтей в длину. В ее отверстие в виде разверстой пасти льва проходила колесница, запряженная четверкой. Гладко отполированные недра загорались от малейшего луча темным пламенем. На одном ее боку изображалось взятие царем Вавилона, на другом — убийство Лжесмердиса. Трубил в нее один человек, но звук, вылетающий из львиной пасти, сотрясал горы и повергал на землю людей. Прибытие трубы означало приближение дня переправы войск. О том же свидетельствовало воздвижение на фракийском берегу у входа на мост двух каменных стэлл, изрезанных греческими и ассирийскими письменами с описанием события, в честь которого воздвигнут мост, а также с обозначением имен царя и строителя моста Мандрокла. На мосту, возле перил, поставили высокий постамент для Ариарамна, назначенного следить за переправой. Другой, против него, предназначался для Мандрокла.

И день настал.

Как только вершины фракийских скал вспыхнули красным светом, раздался громopodobный рев царской трубы, отчего рабы в триэрах подняли плач, а ионийские кони, сорвавшись с привязи, побежали по берегу. Когда кончился ее сокрушительный гром, десять пар белых волов, запряженных в платформу, на которой она стояла, тронулись. На азиатском берегу показались голубые ряды одежд, вышитых золотом. Это шли пятнадцать тысяч бессмертных с блестящими обручами на головах. Они выходили, подобно сверкающей чешуе дракона — за голубыми шли зеленые, за зелеными — розовые. Босфор звенел от ликующих возгласов. Вступая на фракийский берег, бессмертные горстями хватали землю и клали себе за пазуху. После них на мост вступила раззолоченная толпа, а над нею, утопая в сугробах белых опahal, горой вздымался балдахин, покрывавший шестерку коней, запряженных в колесницу. Там, высоко, с копьём в руке сидел царь, но из-за множества знамен и опahal его едва можно было видеть. Рабам, глазевшим в узкие окна триэр, казалось, что по мосту движется храм с суровым божеством внутри. За ним шла колесница с вечным огнем и обоз, заключавший двенадцать тысяч коровьих кож с записанной на них священной Авестой. Потом опять разноцветные ряды бессмертных. Когда потянулись клетки на скрипучих повозках, по Босфору прокатился гул страха и восхищения — за железными прутьями вздымались могучие спины и морды зверей. Ни один царь не возил в поход такого количества львов. Везли бочки с водой из Заба, потому что другой воды персидские цари не пили; амфоры с солью из рудников Аммонiuма, потому что другой соли они не вкушали; колесницы с царским вооружением, одеждою, утварью и припасами, клетки с птицами и обезьянами. Потом везли живых серн и кабанов для царской кухни, вина, плоды, благовония, масла для натирааний. Последними шли повозки с наложницами царя.

Когда мост опустел, на одной из вершин фракийского берега звездой засветился золотой трон Дария. Покатости холма, густо уставленные царедворцами и бессмертными в дорогих одеждах, переливались, как ризы. И когда Дарий сел на свое место, Босфор опять содрогнулся от звука царской трубы. С азиатского берега хлынул поток конницы. Это были лидийцы. Дарий не доверял лидийцам, но любил их конницу. Петушиные гребни шлемов, золото застежек и браслетов, крупные кольца в ушах — делали лидийских всадников самыми нарядными во всем войске. Благоволение Дария к ним было так велико, что он не

расердился, когда они, вопреки приказанию идти шагом по мосту, понеслись во весь опор, наклонив цветистые древки копий. Он ясно слышал гулкую дробь их копыт по кедровому настилу, видел, как Мандрокл в ужасе замахал руками, а Ариарамн потрясал навстречу всадникам обнаженным мечом. Только когда на смену им выступили более сдержанные киликийцы, их удалось остановить и заставить идти шагом. Лишенные возможности блеснуть удалью, они выставляли напоказ отделанное оружие и сбрую, гарцовали, поднимали коней на дыбы, отчего на середине моста возникло замешательство и несколько человек были проколоты копьями.

За киликийцами валила белоснежная глыба аравитян, угрюмо сидевших на прекрасных конях. Они шли до полудня и после полудня. За ними бактриицы, за бактрийцами сагарды, сарангийцы, парфы и, наконец, персы. Закутанные в темно-красные одежды со множеством складок, в пышности которых терялись мечи, колчаны, даже щиты, они тянулись особенно долго. Солнце склонилось к закату, а на мост вступали новые массы всадников. Босфор погружался в сумрак.

Дарию хотелось остановить на ночь шествие, дабы с наступлением утра им опять любоваться, не пропустив ни одного отряда, но его убедили, что это затянуло бы переправу на пятнадцать дней. Переход продолжался. Всадники зажгли пучки сухой травы, ярко и долго горевшие. Через Босфор устремилась огненная река. Расплавленной медью текла она с азиатского берега и терялась в ущельях противоположной стороны.

VIII

Никодем всю ночь не спал от шума и топота. Поднимаясь с ложа, видел движущиеся огни, густые массы конников и слышал гул, подобный грому. А утром, когда снова взошел на корму, перед ним тянулась всё та же вереница конного войска. Теперь по мосту шли черные всадники в коронах из стрел. Лбы и гривы коней также были украшены торчащими стрелами.

Никодем был захвачен блеском шествия, но не хотел в этом сознаться. Он всеми силами возбуждал в себе гнев, проклиная варварское величие царя, призывая позор на головы народов, допустивших торжество грубой силы. Чем больше обнаруживалась мощь Дария, тем яростнее выкрикивал он проклятия. Втайне он не мог не сознаться, что афинские всадники, виденные им однажды в походе и так понравившиеся ему — жалкая горсть в сравнении с лавиной персидской конницы.

За конным войском следовали воины на верблюдах, с длинными копьями. Перед мостом верблюды подняли рев, пятились и ложились на землю. Некоторые побежали прочь, но эфесские копьеносцы встретили их ошестинившимися рядами и снова оттеснили к мосту. Дарий не любил верблюдов; он хорошо помнил, как в битве с Саками упал с верблюжьего горба и через него перескочили, едва не растоптав, четыре дромадера. Вскочив на ноги, он должен был в тучах пыли бежать вместе с безобразными животными, пока не поймал вражескую лошадь. Будучи принят за неприятельского всадника, чудом спасся от длинных копий собственных воинов. Он приказал, чтобы верблюды шли быстрее, но его упростили не ускорять движения. Верблюды и без того шли густой массой, тесня крайних к перилам настолько, что всадники с высоты горбов боязливо посматривали на волны Босфора. Царю пришлось терпеливо слушать верблюжий рев и звон колокольчиков.

Когда последний дромадер ступил на фракийский берег, показались великолепные слоны с башнями, полными воинов и оружия. Владыка Патталлы одел их дорогими покрывалами, вызолотил клыки и прислал Дарию в знак любви. Их приветствовали ревом царской трубы. Звери испугались. Передовой слон долго не решался ступить на кедровый пол. Понукаемый водителем, он затрубил и пустился, что было силы. За ним помчались все пятьдесят слонов. Туника на Мандрокле взмокла. Вчерашний галоп лидийцев, дикая необузданность верблюдов — доставили ему не мало опасений. Когда же глыбы слонов, подобно землетрясению, загремели по настилу, строителю показалось, будто балки,

скрепленные железом, расходятся и мост расплзается на части. Чудовища пронеслись молниями, с башен сыпались стрелы и дротики и ключьями летела дорогая бахрома попон.

На смену слонам шло колесничное войско. Кони, выкрашенные в огненно-красный, лиловый, синий и зеленый цвета, поднимались на дыбы. Пена страусовых перьев захлестнула мост. Колесницы были давнишней любовью Дария. Громыканье мидийских и персидских, плавный бег египетских, серебро ассирийских, красное дерево иудейских, золото и слоновая кость вавилонских поднимали его дух и зажигали неукротимым огнем войны. Они шли весь день и весь день взор царя не отрывался от сладостного зрелища. Он не омрачился даже, когда на мосту возникла давка. Буйволы хвосты, украшавшие перила, бросило ветром в морды горячим коням. Кони шарахнулись, волоча запутавшегося возницу. Оба берега дрогнули от восклицаний, когда роскошно убранная четверка, с экипажем и людьми, опрокинув несколько колесниц и разломав перила моста, шумно упала в Босфор.

К вечеру на смену колесницам выступили пешие войска. Они вытекали из ущелья лентой густой черной крови, со звуками, похожими на плач и грубый хохот. Когда они очутились на мосту, греки, стоявшие на кораблях, заткнули уши от нестерпимого скрежета волынок, свирелей и барабанов. То были персы — победители вселенной. С пышными бородами и волосами, спадавшими до плеч, они казались собранием царей. Они шли всю ночь и весь следующий день, а потом по мосту застучали деревянные котурны фригийцев и писсидийцев. Следовавшие за ними ликийцы вооружены были только кинжалами и кривыми мечами.

Не спавший третью ночь Никодем ежеминутно вставал с ложа. Выкрики на непонятных языках, гул, похожий на шум горной реки, множество огней и страшная толща людей, валившая по мосту, сливались в бредовый сон. Утром он — изнеможенный, с позеленевшим лицом — смотрел шествие стройных армянцев в шлемах из прутьев и в красных сапогах с высокими каблуками.

Три дня и три ночи шли пешие войска. Косматые бактры в бараньих шапках, черные нубийцы с упругими, как пружина, волосами, дарийцы и пакты с профилями хищных птиц. Племя гирканов вооружено было одними дубинами. Обитатели Инда несли бамбуковые палки, заряженные крошечными стрелами, налитыми смертоносным ядом; они выбрасывались на далекое расстояние сжатым воздухом и поражали на смерть.

Никодем увидел народы, о которых прежде не подозревал. Однажды на мост вступило племя в плащах и шлемах из ярких перьев, вооруженное деревянными мечами. В другой раз, выйдя на корму, он увидел косматых гигантов, наполнявших Босфор гулким топотом. Рабы в триэрах закричали при виде их налитых кровью лиц с кабаньими клыками и выпученными глазами, белевшими из-под черных грив. То было одно из индийских племен, военная мудрость которого заключалась в устрашении врага своим внешним видом. На высоких ходулях, скрывааемых длинным платьем, в свирепых масках и мохнатых накидках, оно обращало неприятеля в бегство одним появлением. Даже проникательные греки, быстро понявшие хитрость, испытывали невольный страх. За ними шел низенький народец, приплюснутый к земле и, вместо шлемов, носивший широкие зеленые зонтики. Шли саттагиты, гандарии, табареньены, шли париканы и ортокорибанты, макроны и моссинеки, фаманейцы и саспиры: шли племена гор, обитатели пустынь — полуголые и плотно одетые в ватные брони, спаленные ливийским солнцем и застуженные ветрами Ирана; шли с бычьими рогами на шлемах, с подвязанными волчьими хвостами; шли красивые белокурые народы с печатью божества на челе и звероподобные, вышедшие из недр Тартара: шли без конца, лились неиссякаемым потоком.

IX

Никодем был подавлен. Гнев, который он старался поддерживать, подобно священному огню, давно пропал. Все проклятия истощены, все слова негодования сказаны. А персы шли, и каждый новый отряд молотом обрушивался ему на голову. Была минута, что он, упав на

ложе> хотел выпить серебряный алавастр с ядом, всегда висевший на груди. Ободрился немного, когда войска кончились и потянулись тысячи ослов, мулов и верблюдов с мехами вина, корзинами фиников, тюками сушеного мяса и хлеба. Занятый их созерцанием, Никодем долго не замечал раба, пришедшего доложить о прибытии незнакомца. Закутанного в плащ пришельца привели в шатер. Там он, открыв лицо, воскликнул:

— Достойнейшему Никодему, благородному и доблестному привет! Господин мой Мильтиад желает тебе много лет жизни и тихой кончины в старости. Он просит внимательно отнестись к предостережению, которое я сделаю. Ему известно, что тайна твоя продана коварным лидийцем за два таланта, и Гистизй уже отдал приказ о задержании твоего судна. Либо беги немедленно, либо доверься моему господину: он твой друг, как всегда, и сумеет укрыть от преследователей.

Посланный произнес свою речь с низким поклоном и не заметил, как побледнел Никодем. Но тотчас услышал его твердый голос:

— Скажи Мильтиаду, что, если умирая, я буду в состоянии произнести чье-либо имя, то это будет его имя. Но скажи также, что Никодем до конца хочет изведать пути борьбы разума с силами тьмы.

Он передал статуэтку Афины Паллады в дар Мильтиаду, а посланному за добрую услугу — серебряную цепь.

Не успела лодка посла отойти от триэры, как все три ряда весел были спущены. Люди заняли места, согласно ранее полученным указаниям, а один из рабов поставлен наблюдать за милетскими и хиосскими кораблями. На них поднимали якоря и отвязывали причалы, в трюмах слышался лязг цепей, но весел в окнах еще не было. Никодем понял свое преимущество и приказал рубить канат единственного якоря, на котором держалась триэра. Судно вздрогнуло, как от толчка, и стало отходить к мосту. Это длилось несколько мгновений. Последовал удар весел, другой, третий. Отдохнувшие, хорошо поевшие рабы гребли усердно. Триэра, точно пробуя силу напора вод, слегка колебалась, потом быстро пошла посередине Босфора. Где-то закричали, затрубили в рожки. Гул тревоги прокатился по всему флоту. Триэра плыла между двух стен кораблей, палубы которых чернели народом. Никто не понимал смысла происходящего. Только когда милетские корабли, снявшись с якорей, начали погоню, пуская дымовые столбы, наполняя Босфор трелями рожков, греки поняли требование — задержать триэру. Но они не могли быстро сняться с якорей и ограничились тем, что сыпали тысячи стрел, отчего судно приняло вид колючего чудовища.

Никодем заранее обдумал подробности бегства и теперь уверенно шел сквозь строй врагов. Милетян он оставил далеко позади, а финикийские корабли, по его расчетам, не могли успеть преградить дорогу по причине тяжеловесности. Всё же, ему показалось, что корабельная стоянка тянется бесконечно долго.

Ярко расписанная стрела вонзилась в палубу у самых ног Никодема. Вокруг древка обвивался папирус. Это было письмо.

«Мудрому и доблестному Никодему из Милета, Ардис — недостойный слуга — шлет привет! Душа моя - преисполнена любви к твоему мужеству и благоразумию, позволившим мне заработать пять талантов. Ты добрый торговец и не осудишь за то, что я не захотел довольствоваться тремя талантами там, где можно получить пять. Но я продал тебя Гистизю не раньше, чем убедился, что ты наготове и можешь в любую минуту избежать опасности. Мильтиада известил я. Да сделает Посейдон путь твой глаже простыни и покойнее ложа!»

Триэра приближалась к тому месту, где кончалась стоянка флота и сквозь узкий проход уже виднелась гладь Босфора. Еще сто ударов весел. В это время, неизвестно откуда появившийся корабль выплыл навстречу. За ним — видно было — разворачивалась огромная финикийская пентэра. Опасность мелькнула в сузившихся глазах Никодема. Настал момент смелых решений. Он велел грести изо всей силы навстречу судну и, когда оно,

приблизившись, дало знак остановиться, направил три-эру прямо на него. Враг явно не понимал его намерений. Только когда корабли были носом к носу и триэра, подобно черепахе, вобрала в себя весла правого борта, на вражеском судне догадались и с криком засуетились. Но было поздно. Корабль Никодема, пройдя вдоль борта противника, с треском поломал его весла. В то же время неприятель был закидан дротиками и усеял палубу убитыми и ранеными. Мгновенность маневра и дерзость, с которой он был предпринят на глазах у всего флота, — поразили греков. Они перестали обстреливать триэру и ждали, что произойдет при встрече с финикийским гигантом, пять рядов весел которого уже сверкали в воздухе, как щупальцы фаланги.

При виде участи, постигшей первое судно, пентэра изготовилась к бою, выстроив на палубе воинов с метательным оружием и со щитами. Плывая посередине водного пространства, она оставляла Никодему лишь узкую дорогу между одним из своих бортов и линией стоявших на якоре кораблей. Вступив туда, триэра неминуемо была бы засыпана дротиками с обеих сторон.

Тогда, по знаку Никодема, стали поднимать из трюма узкие глиняные сосуды и устанавливать приспособления с торчащими вверх упругими стрижнями, на подобие слоновых хоботов. Оба судна мчались навстречу друг Другу со страшной скоростью. Когда были на расстоянии полета стрелы, с триэры полетели глиняные амфоры.

Большими желтыми яйцами падали они на пентэру и на корабли, стоявшие на якорях, заливая палубы пахучей черной жидкостью. Следом взвились стрелы с горящими пучками на концах. Вражеские суда вспыхнули. Забыв про битву, люди бросились тушить пожар, но черная жидкость пылала даже на воде. А с триэры сыпались новые сосуды, выбрасываемые упругими хоботами.

В поднявшейся сумятице судно Никодема благополучно прошло опасное место. Выставив на носу длинный шест с пылавшей жаровней, оно грозило поджечь каждого, кто посмеет преградить дорогу. Теперь уже никто не дерзал это сделать. Триэре позволили выйти за линию стоянки флота, где она подняла паруса и быстро устремилась к морю. Позади пылали корабли, суетились лодки, а над хаосом мачт блестела позолота моста и слышался ослиный рев.

К вечеру триэра разрезала первую волну Понта.

В Пафосе

I

Мандрокл построил не один, но два моста. Другой, разобранный на части и погруженный на корабли, надлежало переправить через Понт, поднять по Истру до назначенного места и собрать ко времени прихода туда войск. Теперь кораблям пришло время покидать Босфор. Путь их лежал вдоль фракийского побережья. От храма Зевса-Уриоза, стоящего при самом выходе в Понт, они пойдут на закат к Кианейским скалам, которые впервые прошел Язон на своем Арго. Когда-то эти скалы двигались и сокрушали всякий корабль, попадавший в те воды. Потом они поплывут мимо Сальмидессоса, где племена живут остатками от кораблекрушений и воюют друг с другом за обладание ими. Они пройдут Аполлонию, пройдут Мезембрию, достигнут отрогов Гемоса, подходящих к самому Понту, и двинутся на Север мимо Одессополя, Карона и Каллатиса. И когда исполнится три дня и три ночи, они, минуя маленький, еле видный с моря городок Истр, — достигнут дельты великой реки.

Шум, вызванный бегством Никодема, казалось, разбудил флот. Застучали топоры, в трюмы стали загонять кучи ободранных рабов, потом начали поднимать якоря. На рассвете финикийские пентэры одна за другой отделились от неподвижного массива флота. За ними тронулись греки. Флот стал дробиться, как материк, крошащийся на множество островов.

Только одна самая большая пентэра оставалась на месте. На нее постоянно прибывали люди в дорогих одеждах и поднимались диковинные грузы. А к вечеру, под охраной бессмертных, подошли сверкавшие золотом и страусовыми перьями носилки. Их торжественно внесли на корабль, после чего он отплыл в сопровождении флотилии мелких судов.

II

Море шумело по-древнему, по-старинному, как в дни Кодра, как в дни Мермнадов, как в дни Аргонавтов. Пентэра шла в полном мраке. Только тонкие иголки звездных отражений играли на невидимых волнах. Берега тоже не было видно, но близость его угадывалась кормчими. Слева мигали желтые светлячки. Это неведомые обитатели берегов Понта жгли костры в горах. Такие же светлячки мерцали впереди. В них угадывали огни персидского флота.

Но на пентэре царила тьма. Люди пробирались ощупью среди снастей и парусов, боясь чем-нибудь нарушить тишину. Все озирались в ту сторону, где темными изваяниями застыла стража. Там всю ночь до рассвета чья-то тень скользила по коврам, устилавшим корму. Она то исчезала в складках материй, закрывавших огромные, как дом, носилки, то снова появлялась.

Как только первые лучи брызнули из глубины Понта и заиграли на золоте леопардовых шкур, украшавших палубу, корабль ожил. Из клетки выпустили розовых голубей, зеленых павлинов. Крошечный седобородый карлик вбежал на корму и позвонил в серебряный колокольчик; за ним вышли высоченный великан и черный, как мумия, эфиоп. Но голос, раздавшийся из-за драпировки, заставил их поспешно удалиться. Утешение мира, услада живущих — великая царица спит.

Но она не спала, хотя была истомлена ночным бдением. Склонившись на строгом ложе, она всё думала о дне откровения, в который положено было чему-то сбыться, о дне, с которого начиналась ее истинная жизнь, та жизнь, что замышляется в неисповедимых глубинах вселенной и предназначается еще до рождения.

Море шумело по-древнему, по-старинному.

III

Она была дочерью великого Кира.

Родившись в дни славы и небывалых побед, росла под шум падающих царств, в грохоте разрушаемых городов. Первым ее детским видением был звук трубы. Потом, на всю жизнь запомнилась рычащая голова льва на голубой стене дворца. Львы стали ее любимой забавой. Часто тайком ходила ко рву и, нагнувшись, смотрела, как они когтили камень стены, улыбаясь голодной пастью. Еще девочкой проведала, что отец в минуты отдыха приказывал ставить кресло в длинном коридоре, выходящем в яму со львами и, оставшись один, смотрел, как звери друг за другом входили в коридор, нюхали воздух и, увидев сидящего царя, хищно кралась, припадая к земле. Подпустив их на расстояние прыжка, царь дергал золотой шнур и железная решётка с шумом падала, ограждая его от разъяренных зверей. Атосса восхищалась это забавой. Однажды она исчезла из своих покоев и ее нашли в коридоре, лежащей без чувств, а в двух шагах львы сотрясали железные прутья решётки.

С десяти лет была заперта в пышный Эндерун, где жила отягченная парчей и золотом и видела мир только сквозь случайно открытую дверь или край приподнятой занавески. Зато ночью ей разрешалось подолгу просиживать на крыше. И она любила ночь.

Когда гасли огни и замирали людские шумы, она поднималась наверх, под горящий купол неба. Звездное великолепие наполняло окрестность торжественностью храма. Но манили не звезды. Запрокинув лицо, смотрела в черные провалы между звездами, в вечный мрак, из которого веяло холодом. В такие минуты чувствовала себя несущейся в мировом пространстве. Бездна вселенной зияла так страшно, что она вздрагивала и хваталась за

тигровые шкуры, чтобы убедиться, что лежит на террасе дворца. Еще больше любила глухие, беззвездные ночи с завыванием гиен, с резкими криками совы. Мировая тьма подступала тогда совсем близко со своей тишиной. В минуты сосредоточенности душевных сил она улавливала ее голос и потом долго носила отзвук того, чему не находила названия. Так звучит безмолвие морского дна, где в непроглядной тьме плавают зубастые чудовища. Казалось, и здесь, на крыше дворца, ее внезапно схватит огромная пасть.

Однажды ей позволили обойти громадный, как город, дворец. Он строился много лет и всё еще не был закончен. То было в знойный летний день. Множеством лестниц и переходов достигла подножия высокой башни и вошла в ее сырые, пахнущие илом и известью недра. Там было темно, как на дне колодца, только высоко над головой синел квадрат неба. Атосса подняла лицо и увидела звезды.

Звезды днем!..

Это было волнующее открытие. Из бесед с астрологами узнала, что эта тайна им давно известна: звезды бывают видимы днем со дна глубоких ущелий и колодцев. Значит, страшный ночной мир не уходит с наступлением утра, он остается висеть над нами, объемлет нас и стережет. Мы всегда в его власти. День — только короткая вспышка света во мраке, он не прогоняет тьмы, а лишь застилает ее от нас и горе тому, кто, обольщенный им, забывает о своей истинной владычице ночи, бездонной, бесконечной, от века сущей. Атосса прониклась сознанием ее безраздельной власти и ни на минуту не забывала о черной пропасти, окружающей мир. Все страхи и все ужасы земли — ничто в сравнении с веющим оттуда холодом.

Она росла молчаливым ребенком. Проникновенный взор и печать особой значительности на лице привлекли к ней внимание жрецов и магов. В ней видели существо, познавшее тайну. Ее учили откровениям Агура-Мазды, его вечной благодати и конечной победе над Ариманом, халдеи посвятили ее во все заклания, в таинства амулетов, примет, гаданий, движения светил. Греческие мудрецы говорили об атоме, о зиждущей силе огня, воздуха, воды. Одни утверждали, что земля совершенно плоская, другие, что она похожа на слегка вогнутый диск с приподнятыми краями. Атосса слушала внимательно, но улыбка сомнения постоянно играла в уголках губ. Для нее не существовало чудес и богов после того, как узнала всеобъемлющую силу вечной ночи, царствующей надо всем и всё поглощающей. Там всему конец — и богам, и людям, и земле, и времени.

И однажды она забыла об этом.

Ей было тринадцать лет. Откуда-то доносился запах цветущего шафрана, далекий голос пел во мраке, и тогда непонятное волнение охватило ее до самых глубин. Тело стало легким, точно растворилось в пространстве. В ней родилась другая, светлая бездна, над которой ночь была не властна.

Как часто там же, на крыше дворца, когда вселенная зияла своей пустотой и когда, вскрикнув, она зарывалась в подушки, — навстречу пронизывающему ее страху поднималась такая ликующая волна, перед которой всё отступало. В такие минуты она не боялась мрака. Простирая во тьму руки, точно стремясь кого-то обнять, она думала, уж не оттуда ли снизошла таинственная благодать?

IV

Первым мужем ее сделался старший брат Камбиз, ставший царем после гибели отца.

Печальная взошла она на ложе сумасшедшего брата и долго умоляла не трогать ее. Камбиз не имел к ней влечения, он хотел только сына, в котором бы к крови Кира не примешивалось ни капли чужой крови. Но сына не было, и он забросил ее, ударившись в неистовства с толпой наложниц.

Прошло семь лет.

Тишина и холод бездны стали проникать в ее жизнь. Всё окутывалось непроглядным мраком и не было спасения от ужаса. Только красным угольком теплилось таинственное

чувство, шептавшее о некоем блаженстве, ради которого она пришла в мир.

Что такое блаженство? — спрашивала она черного халдея, обучавшего ее мудрости.

Халдей закрывал глаза, затвердевал, как каменное изваяние, и изрекал, роняя слова: Есть три круга блаженства, но они открываются только жаждущим его.

«Неужели я недостаточно жажду?» — думала Атосса.

Но годы ожидания положили глубокие тени возле глаз. В ней пробудился неукротимый гнев. Нередко превращала свои покои в хаос — рвала дорогие ткани, разбивала нефритовые столы и креслы из слоновой кости, колола обнаженных рабынь длинными булавками и бросала в них кинжалы. Каждый раз после такой бури приближенные воздавали ей особенные почести, видя в ней достойную дочь Кира.

Со смертью Камбиза она стала женой второго брата — Бардии. Он приходил ночью при потушенных огнях и никогда не показывал лица. Когда же узнали, что это был не Бардия, а ловкий хитрец, завладевший под чужим именем царством и женами Камбиза, — она испытала такое чувство, будто ее напоили грязью.

Наконец, явился Дарий.

Она встретила его негодующей речью:

- Доколе, царь, служить мне забавой проходимцев, оказывающихся игрою случая на троне моего отца? Если мне отказано в сожалении, как женщине, то неужели отказано и в почтении, как дочери Кира? Ты хочешь упрочить трон браком со мной? Да будет так! Перед всем миром — я твоя жена, но не переступай моего порога!

Гнев ее, больше чем красота, покорила Дария. Из всех жен он полюбил ее одну и раскрывался перед нею до конца. Ей известны были самые сокровенные его замыслы и она могла бы управлять царством, если бы захотела. Но вид властителя, сидевшего у ее ног, не порождал гордости. Собственный сокровенный мир казался дороже; она боялась растратить его в буднях царского правления. К тому же время великих дел прошло; ее отец и брат своими победами исчерпали все воинские подвиги. Не оставалось стран, неподвластных царю царей. Ничтожная, но гордая Эллада избегла общей участи только благодаря морю, служившему ей защитой. Она часто говорила Дарию:

— Твоего имени, царь, не озарит блеск венца победителя. Потомство о тебе будет говорить, как об усмирителе бунтов и стяжателе богатства, но подлинно царской славы, связанной с великими завоеваниями, тебе не суждено снискать.

Дарий был ревнив к славе и речи Атоссы приводили его в волнение. Он стал думать о сокрушительных походах, о покорении ненавистной высокомерной Эллады. Трезвый и рассудительный в гражданском управлении, Дарий был в военном деле мечтателем.

Атоссе доставляло удовольствие видеть, как он в честолюбивых планах доходил до крайнего возбуждения и внезапно остывал от небрежно брошенного ею меткого слова. Так она доказала невозможность покорить Элладу, доколе он не утвердится на фракийском берегу.

Беседы с царем развлекали, но не заглушали томительного ожидания чего-то. К Дарию у нее не было отвращения, как к Камбизу или Лжебардии, но не было и любви. О любви она попрежнему мечтала, лежа в черные ночи на крыше дворца. Неужели она обманута и ей отказано в том, что дано последней твари на земле?

Однажды молнией пронзила мысль о старости. Скоро конец. Жизнь прошла в бесплодных ожиданиях...

Атосса заперлась в темном покое и просидела несколько дней без сна и пищи. В лице появилась суровая решимость. Она стала резче и ядовитее высмеивать Дария, но пыла его не охлаждала.

— Настал день, когда и ты должен, по примеру великих царей, изрезать скалу надписями о своих победах, — говорила она. — Если твои предшественники завоевали все известные миру народы, то на твою долю остались таинственные страны с неведомыми обитателями. Тебе суждено достигнуть края земли и утвердить свое владычество там, где не был еще ни один завоеватель.

И она, как вином, напайвала его рассказами о странах, лежащих за Понтом, где белые перья падают с неба, вода превращается в прозрачный кристалл и где находится вход в Тартар. Там царствует вечный мрак и живут люди, порожденные мраком. Некоторые так счастливы, что кончают жизнь самоубийством, у других много золота, которое они крадут у хищных грифонов. Там есть люди, превращающиеся раз в году в волков. Но чтобы достигнуть этих стран, надо пройти через скифов — воинственный народ, происшедший от женщины-змеи.

Что-то волнующее, чудесное, всегда ее увлекавшее звучало в имени скифов. Азия до сих пор с содроганием вспоминает их нашествие, а смерть великого Кира, чью голову они бросили в мешок с кровью, — у всех еще в памяти.

— Ты ли, царь, оставишь неотмщенной смерть родича и не восстановишь чести подвластных народов, оскорбленных некогда дерзким набегом? Знай, что гордая Эллада до тех пор будет смеяться над твоим могуществом, пока ты не сокрушишь буйных скифов. Греки держат их, как цепных псов, против тебя и открыто грозят новым скифским нашествием, если ты дерзнешь высадиться во Фракии. Скифы стоят на страже Эллады. Уничтожь их — и завтра она у твоих ног.

Царь хмелел от ее речей. Отправившись на охоту и сидя на горбу дромадера, он предавался мечтам о завоевании пределов вселенной. Страстный охотник, он теперь рассеянно смотрел на серн, выбегавших навстречу, и, не поднимал своего чудесно украшенного лука. Видя в нем внутреннее борение, Атосса искусно поддерживала огонь.

— Достигнув предела земли, ты узнаешь загадку вселенной, ты станешь богом, царь!

V

День ее торжества наступил внезапно. Ничего не сказав о принятом решении, Дарий приказал собирать коней, верблюдов и колесницы. Узнав об этом, Атосса устроила ему торжественную встречу в своих покоях. От порога до ложа протянулась дорожка из дорогих тканей, усыпанная лепестками шафрана и розы, обрамленная мечами, торчавшими острием вверх. Рабыни в ярко красных одеждах держали светильники и звонили в колокольчики. Дарий прошел на ложе, как на трон, и царица сама умастила ему ноги. Предстояло самое трудное, почти невозможное — добиться участия в походе. Еще ни одна из жен ахеменидов не выходила за пределы дворца и не показывала своего лица смертным. Дерзость просьбы до того поразила Дария, что он пролил кубок с вином на ложе и долго не мог вымолвить слова. Но он уже был во власти Атоссы. Она давно ввела его в мир смелого и необычного, пробудила прелесть хождения по неизведанным путям, остроту небывалых положений. И она победила. Объявлением похода в неизвестные страны Дарий бросал вызов богам и людям. Это было больше, чем нарушение древнего обычая — укрывать жену от посторонних взоров. Стоило ли после этого держаться за ветхий закон? Он захотел быть выше закона. Атоссе было позволено следовать на Босфор тем путем, который она сама изберет. Задолго до выступления царя и войска отправилась она с пышной свитой в Галикарнас, чтобы оттуда пройти по всему побережью. Она еще в детстве слышала о чудесной Ионии. Ей показывали белые стены городов, колоннады храмов, хрупкие портики и пышные гробницы, высеченные в скалах. Ездил и в Ликию на Мыс Огня, где стоит храм Гефеста и где вылетает из земли неугасимое пламя. Но греки скоро узнали, что особым вниманием царицы пользуется Афродита. В храмы ее она приносила богатые дары и подолгу слушала жрецов, посвящавших ее в таинства богини любви. Однако, после посещения каждого храма царица становилась печальной и спешила в новый. Всюду видела одно и то же — утопающие в цветах алтари, небесное пение дев и юношей и статую богини, синевшую в дыму курений.

Однажды, после посещения роскошного храма на Родосе, она объявила, что больше не будет заходить в святилища Афродиты. Тогда явился старец и голосом, почему-то взволновавшим ее, просил посетить Пафосский храм на Кипре. Туда, где он стоял и где в береговых пещерах с шумом движется вода, принесена была волнами богиня, рожденная

пеной морской. Только в Пафосе познаешь истинную Афродиту!

До Кипра было больше двух дней пути и плавание туда могло вызвать опоздание к началу переправы войск через Босфор, но Атосса, сама не зная почему, отказалась от принятого решения и захотела посмотреть еще одну святыню.

Всё, случившееся потом, было сном.

VI

Царица послала в Пафос спросить: дозволено ли ей посетить храм и быть посвященной в тайны Афродиты? Ответ получила уже на Кипре, когда находилась в расстоянии дня ходьбы от храма.

— Если ты чужда любопытства и сердце твое исходит кровью — приходи!

Дорога была каменистая. По мере приближения к святилищу, деревья и кусты исчезали, потом исчезла трава. Царство желтых глыб и крупного щебня простерлось до самого моря. Часто попадались женщины, шедшие босиком по острому камню. Богиня благосклонна была к тем, кто приходил с окровавленными ногами.

Храм стоял в расщелине черных утесов, окруженный толпой кипарисов. Одной стороной он упирался в скалу, закрывавшую от него море. Море было внизу и гул его сюда не доносился. Молчание каменной пустыни нарушали только голуби, вившиеся над розовым храмом. Приказав остановиться, царица сошла с носилок и в сопровождении одной наперсницы приблизилась к святилищу. Храм из громадных дубовых бревен выстроен был древним царем Аэрием. Стены во многих местах поросли мхом и крошились, но могучие колонны, державшие фронтоны, стояли несокрушимо. Каннелюры, расписанные красной краской, казались струйками крови, стекавшей с капителей. Фронтон тоже заливала кровь, и на ее пылающем фоне бушевали белые мраморные волны, из которых поднималась черная базальтовая голова без лица.

В храме было темно и пусто. Посредине чернел кипарис, уходивший вершиной в отверстие, сделанное в крыше. Оттуда в храм залетали голуби, звонко хлопая крыльями. Из недр кипариса выглядывал свирепый коршун, позванивая цепью. Тщетно искала царица статую богини — ее не было. Не было алтарей и сосудов с благовониями. Только светильники звездами мерцали в глубине и стройный пэан звучал из мрака. Но Атоссу поразил странный гул, время от времени наполнявший храм, как отдаленная буря или рычание чудовища. Было в нем страшное, завораживающее: весть о том, что было до дней творения и что будет после всеобщей гибели. Царица вслушивалась, как в воспоминание давно забытого, и когда он смолкал — хотела его вновь. Скоро для нее ничего не существовало, кроме жуткого, но сладостного гула.

Она не видела, как склонилась перед нею жрица в хитоне наполовину розовом, наполовину черном, как, сняв дорожную одежду и распустив волосы, возложила на нее венок смирения из сухих колючих трав и опоясала тугим железным поясом. Исступленный голос где-то запел:

Во имя Афродиты целящей и карающей!.. Если помыслы не осквернили душ ваших, если сердца ваши переполнены и ждут откровения — придите!..

И снова далекие раскаты грома и вой зверей, и плач теней умерших.

На другом конце храма, вместо стены, вздымалась скала и в скале чернело отверстие, закрытое решёткой из электрона. Горели светильники, курились благовония и несколько женских фигур лежало ниц. Тьма, сгустившаяся за решёткой, дышала сыростью. Решётка открылась в ту минуту, когда оттуда вырывался гул, так взволновавший Атоссу. Неведомый голос позвал царицу:

- Готова ли ты познать тайны Афродиты?

С трудом передвигая ноги, она пошла в зияющую пасть пещеры и едва не лишилась чувств, когда в темноте кто-то схватил ее за руку и повлек вниз по ступеням в ревущую пропасть. Спускались в непроглядной тьме. Невидимый спутник уверенно вел по извивам

лестницы.

Хлынул свет, открылась просторная пещера. Стены были увешены изображениями женских детородных частей, отлитых из золота, серебра, вырезанных из агата. На ложе, окруженном бронзовыми светильниками, замерли в любовной истоме две женщины, обнявшиеся так крепко, что руки врезались в пышные тела. Перед ложем на коленях кто-то громко стонал и царапал лицо ногтями.

Царица бросилась вон. Во тьме она снова оказалась во власти таинственной руки и снова устремилась вниз. Через несколько десятков ступеней — новая пещера, где предстало страшное изображение повесившейся Иокасты, а стоявший подле Эдип выкалывал себе глаза. Перед ними заламывали руки и били себя в грудь мужчины и женщины. В отчаянии они кричали:

— Я прелюбодействовал с матерью!.. Я хочу любви своего сына!.. Не дай, владычица, смешиться с собственными дочерьми!..

Чем ниже спускалась царица с невидимым спутником, тем острее ощущалась близость тайны по усиливающемуся реву. Он становился настолько страшен, что она боялась не выдержать и упасть. Каменные ступени привели еще в одну пещеру. Атосса вскрикнула. Громадный медный бык громоздился на деревянную телку. Хор женщин, одетых в красное и черное, покачивался из стороны в сторону, в такт напева. Одна, совершенно обнаженная, с плачем и воплем подползала под деревянную корову — скрываясь в ее пустом чреве. Согнувшись, касалась детородной частью медного фаллуса. А хор пел:

— Избави нас от быка! Владычица, избави нас от быка!

Потрясенная, спускалась Атосса в самую пасть зверя. Теперь не отдаленный гул, но ураган бушевал совсем близко.

И еще одно подземелье предстало ей. Оно пылало огнями, курилось ароматами. Хор женщин пел печальную песню, от которой многие плакали навзрыд и громко причитали:

— Ты умер! Ты умер! О горе! Зачем ты покинул рожденную пеной морской?

Посреди пещеры, на ложе, убранном цветами, лежало тело убитого Адониса. Мраморная статуя была так хорошо раскрашена, что Атосса приняла ее сначала за человеческое тело. На бедре зияла рана, а от виска к подбородку стекала широкая лента крови.

Атосса приблизилась к ложу. Адонис лежал точно живой. Губы не то улыбались, не то хранили печать строгости, и оттого всё лицо менялось каждое мгновение. Это был то нежный мальчик с сочными губами, расцветавший в улыбке, то существо, заглянувшее в бездну и стремящееся скрыть то, что узнало. Атосса заметила, что этим другим обликом он обращался к ней каждый раз, когда снаружи долетал грозный звук. Из пробитого виска, казалось, выступала тогда новая кровь. Царица загляделась на божественный овал лица, озаренного странной улыбкой, и сладкие слезы потекли у ней по щекам. С плачем припала к ногам Адониса. Как сквозь сон, слышала печальный напев:

— Ты умер! Ты умер! Ты не придешь, сладостный!

Потом резкий голос ворвался в ее блаженное забытие:

— Благодать Афродиты почиет на тебе. Готова ли ты видеть богиню?

— Да! Да!

— Встань и укрепи дух свой, ибо страшна тайна ее и образ ее, как молния из туч!

Перед Атоссой стояла высокая фигура в маске, на котурнах; в руках светильник, покрытый глиняным сосудом.

— Дай мне руку, — воскликнула маска.

Царица покорно протянула пылавшую браслетами и кольцами руку и снова пошла в ревущую тьму. Замирая блаженством и страхом, спускалась по ступеням и видела край одежды своего спутника, высокие котурны, на которые падал свет из-под глиняного сосуда. От этого тьма кругом сгущалась еще более.

Атосса не мучилась больше вопросом — кто так страшно трубил в трубу подземелья? Она верила в божественность голоса, идущего снизу, и старалась постигнуть по нему самое

божество.

И вот бездна ревет у ее ног.

Атосса выхватывает руку из жесткой ладони человека в белом. Тот останавливается и разбивает глиняный сосуд. Факел освещает черный грот, на дне которого бурлит и клокочет пена. Она буйным хмелем поднимается вверх, заполняет выемки и углубления в стенах, подступает к ступеням, где стоит Атосса. Потом с воплем и скрежетом вода опускается. Из углублений брызжут потоки, крутящиеся воронки воют зловещими сиренами. Грот поет и гудит. Тогда из бушующей пены показывается черный бэтил — большой конусообразный камень. Когда он весь вышел, бездна взревела особенно страшно, и человек, державший факел, воскликнул:

— Поклонись, ибо это богиня. Ты теперь видишь ту, что рождена пеной морской.

Атосса слабо взмахнула руками и упала на ступени.

Очнулась во мраке. Ее вели под руки узким извили-листым ходом. Он уперся в тесное пространство, сжатое со всех сторон камнем. Там стояла беспросветная тьма и дул снизу вверх пронзительный ветер. Знакомый голос возвестил:

— Узнай последнюю и самую сокровенную тайну богини. Она открывается только тебе. Для всех смертных — богиня рождена пеной морской, но тебе да будет известно, что она пришла отсюда.

Он велел поднять голову, и царица увидела высоко, как в детстве, синий кружок неба и звезды.

VII

Весь путь до Босфора просидела в шатре, в кормовой части судна. Шатер был синий, затканый звездами. Ей не хотелось видеть переправу войск, и она рада была, что пришла к концу шествия. Знала, что Дарий будет недоволен, но не хотела думать ни о чем, кроме события, всколыхнувшего душу до дна.

Дарий был удивлен происшедшей переменой. Возбуждавшая его когда-то на подвиги царица предстала холодной и безучастной к задуманному походу. Она потухла, погрузилась в себя. Царь расстался с нею в тревоге. Не посмеялась ли над ним мудрая дочь Кира, толкнув на безумную войну с неизвестным народом?

А она, вступив на финикийский корабль и выйдя в море, почувствовала себя несущейся в долгожданное, в неизвестное. Когда под полог врвался шум волн, Атоссе вспоминался страшный образ богини любви.

Только в Пафосе познаешь истинную Афродиту!

Усталость повергла ее на ложе, сон молотом ударил в темя. Тогда полог раздвинулся, открылась гладь кормы и из-за борта стала подниматься белая голова, загадочно улыбаясь и сверкая алой лентой крови. Атосса заметалась и заплакала во сне.

— Ты умер! Ты умер! Ты не придешь, сладостный!

Море шумело по-древнему, по-старинному.

VIII

На третий день подул ветер, покрывший бока пен-тэры ледяной коркой. Гребцы с трудом двигали веслами, так многоросло на них льда. Когда Атосса, закутанная в шкуры и ткани, выглянула из шатра, черная, как смоль, глыба нависла над палубой и должна была неминуемо раздавить пентэру. Воины стояли бледные, ухватившись за мачты и выступы помоста. Глыба медленно опустилась за борт, а Атосса на мгновение увидела кипящую даль Понта. Потом стала расти новая глыба и поднялась выше первой. Царица в страхе задернула занавеску. В тот же миг что-то упало и накрыло ее вместе с ложем. Шатра ее больше не было; над нею неслись брызги и крутились дымные тучи. Толпа рабов, скользя и падая, бежала по обледеневшей палубе. Завернутую в остатки звездной ткани, ее снесли вниз, в

темную каюту, где она слушала скрип корабельных бревен, гул моря, подобный землетрясению, и плач ветра.

Финикийцы смело боролись с бурей, но пронзительный непривычный холод надламывал их дух. Они кутались в тряпье, забивались в щели, откуда их палками выгоняли наверх. Порой, во мгле, призраками вырастали очертания кораблей. Это носился по морю рассеянный флот.

Два дня, две ночи стояли мрак, ветер и холод. У пентэры сорвало руль и она прыгала по волнам, лишённая управления. Потом тучи разогнало, забрезжило больное желтое солнце, и тогда корабельщики стали плакать и бить себя в грудь. В море обозначилась извилистая полоса пены. Корабль несло на гряды камней.

Когда царице объявили, что приближается гибель, она облачилась в дорогие одежды и велела поднять себя на палубу. Ей не хотелось быть залитой водой в тесной каюте и гнить с кораблем на каменистой отмели. Готовая умереть, она не верила в смерть. Если сейчас смерть, то зачем было откровение в Пафосе?

Подняли парус, чтобы попытаться повернуть в открытое море, но его разорвало в клочья. Слышался страшный вой водоворота. Люди падали на колени, катались по палубе и только немногие стыдились предаваться отчаянию в присутствии царицы.

Спасение пришло неожиданно. Оказалось, что пена лизала отлогий берег, вовсе лишённый камней, а то, что темнело и серело за белой полосой, было не море, а ровное, уходящее вдаль поле. Волны надвигались на него горными цепями, с громом обрушивая отягченные хребты.

Корабль повернуло несколько раз и выбросило кормой на песок. От сильного толчка все упали, но, вскочив, обнимались и плакали.

Озябшая царица заснула в шалаше, построенном для нее в поле из копий, щитов и плащей, а когда проснулась — шалаш был полон птиц, похожих на молодых кур. Они тихо посвистывали, кроткие глаза замирали от ужаса и смертельной усталости. Всё поле шевелилось и дыбилось от птиц. Спрятав головы, прижавшись друг к другу, они лежали, спасаясь от ветра, но он отрывал их от земли пластами и гнал, и крутил, ломая крылья. Иногда, сильным порывом взметал вверх и ударял оземь. Те, что раскрывали крылья — гибли, более приспособившиеся, плотно прижимая их к телу, бежали на тонких, как прутья, ножках. Десятки тысяч птичьего народа густой лавой пронесло мимо шалаша.

Потом ветер стал стихать, но море бушевало. Атоссе казалось, что оно выше суши и что темные волны неминуемо зальют равнину. К вечеру потеплело, в разных концах моря зажглись огоньки. Финикийцы развели костер и всю ночь махали горящими пучками сухой травы. А утром Атосса — не то в море, не то в небе — увидела стройные корабли с цветными парусами. Множество лодок шло к берегу. Царица узнала, что находится на Белом Острове, который греки называли также Островом Ахилла. Богиня Фетида отдала его своему сыну, и моряки, проходившие здесь в пасмурную погоду, нередко видели тень героя. Чаше всего она появлялась на корабельных ряях.

В глубине острова стояли жертвенник и древняя статуя Ахилла. Статуя поросла мхом и лишайником, впившимся в мрамор и разъедавшим его поверхность. Черты лица трудно было разобрать, но в еле заметных очертаниях губ и щек Атосса с волнением уловила намек на улыбку — на ту, что открылась ей так недавно и легла печатью на ее жизнь.

Греки были веселы. Остров Ахилла лежал недалеко от дельты Истра и корабельщики надеялись в тот же день достигнуть ее. Плыли всё же очень долго. Уж скрылся Белый Остров с кружащимися над ним чайками, а материка не было видно. Гистиэй приказал нескольким рабам лечь на палубу и свесить головы за борт, чтобы следить за предметами, плывшими по волнам. Когда заметили надутый бараний мех, украшенный белыми, синими и красными лентами, на передних кораблях раздались возгласы. Бывавшие в этих местах знали, что только Истр выносит в море эти знаки поклонения ему диких номадов. Потом увидели качавшийся на волнах остров, поросший желтым камышом.

Вечером Гистиэю поднесли зачерпнутой из-за борта воды и он, отведав ее, приказал

трубить в рог: вода была пресная. Но среди корабельщиков начался жестокий спор. Дельта Истра раскинулась в ширину до трехсот стадий и никто не знал, к которому из ее пяти рукавов подошел флот. Одни думали, что он находится возле самого северного из них — Псилона, другие высказывались за Гиерон — священное устье, расположенное на юге. Ни в одно из них нельзя было вступать по причине их недостаточной ширины, а также из-за опасности нападений. Суда легко могли быть подожжены с берега. Только после долгих споров и наблюдений установили, что флот находится возле средних выходов дельты и ближе всех к Калону-Стомиону. Но при приближении опознали На-ракон — самый большой рукав Истра.

Сердце Атоссы почему-то сжалось и замерло при вести, что флот находится в виду устья великой скифской реки. Ей хотелось видеть, как будут вступать в гирло, но спустились сумерки и закрыли даль. Привидениями поползли острова и отмели, поросшие тростником. Гнилой запах болот и едва уловимый шорох наполняли воздух. Потом стал расти звук, похожий на говор толпы. Он усиливался по мере продвижения и, под конец, заглушил стук весел в трюме. Когда царица спросила, что означает этот скребущий звук, она не услышала голос Эобаза. Скрип, треск, урчание сверлили ухо. Корабли бросили якоря и простояли всю ночь среди адского скрежета. Чужие берега встречали загадочным криком. Только к утру затих их ужасный голос и, когда взошло солнце, открылись по обе стороны бесконечные болота, образованные весенним разливом реки. С кораблей ясно видели, как вода в них кипела. То копошились миллионы лягушек, наполнявших мир своим кваканьем.

Суда тронулись по извивам реки. Пустынные берега веяли тоской, холодом и страхом неведомых стран. Атосса сидела в каюте, завернувшись в звериные шкуры. По временам призывала Эобаза и спрашивала, когда будет Скифия?

Мы уже вступили в нее, великая царица. По правую руку всё время тянутся скифские степи, но они не достойны твоего взгляда. Сам Ариман не смог бы отыскать более безотрадного места для своего пребывания.

Наутро весла в трюме не работали. Мы прибыли, — возвестил Эобаз.

Пентэра царицы стояла в самой гуще стада кораблей, толпившихся, как слоны в загоне. Над ними с унылым криком кружилась белая птица. Задумчивая река, вившаяся по бескрайней равнине, низкие небеса и чужой, незнакомый ветер возвестил Атоссе, что она в преддверии Скифии, на рубеже незнаемой земли.

В Ольвии

I

Приезд Никодема всегда был событием для Ольвии, но сейчас он свел с ума весь город. Необыкновенная цель путешествия служила предметом споров на всех перекрестках. Простой народ полагал, что поездка имеет целью проникновение в страну янтаря и золота. На стенах появились рисунки, изображавшие Никодема в борьбе с грифонами, либо похищающим у них золото. Вдова, которой он простил долг, принесла ему амулет в виде грифона с золотыми крыльями и клювом. Уличные мальчишки пели:

Куда идешь, улитка,
Куда ползешь, рогатая?
Я спешу за Никодемом
В страну мрака, в страну золота.

Но знатные ольвиополиты не сомневались в искренности его слов, хотя и не могли объяснить столь странного поступка. Кто мог бы предположить, что мирный торговец, стремившийся только к стяжанию, станет сегодня мужем войны и ополчится, как равный, на

кого же? На владыку мира. Непостожи́мо. Пусть боги покровительствуют ему. Каково бы ни было движущее начало его замысла, безумие или искра божественного огня — не нам судить его поступки. Если это безумие — оно величественно и достойно преклонения. Они только вздыхали о гибели его несметных богатств.

Отцов города смущало оружие, привезенное Никодемом, которое он, нагрузив на ослов, хотел везти к скифам. Продавать и дарить оружие степнякам запрещалось. Город много терпел от их набегов и не раз сидел в осаде. Один владеец оружейной мастерской приговорен был к смерти за тайную продажу своих изделий скифам. Но Никодему никто не решался сказать слово упрека. Все в городе, от архонта до последнего ремесленника, испытывали на себе власть его денег. Громадная толпа торговцев и содержателей мастерских кормилась благодаря ему. Каждый год, к его приезду, они отправлялись на больших речных судах вверх по Гипанису и Бо-рисфену, чтобы скупать зерно у скифов-земледельцев и сбывать им глиняную и бронзовую посуду, вина, ткани, украшения, привозимые из Эллады или выработанные здесь по заказу Никодема. Некоторые богачи обязаны были ему состоянием. Его не только чтили, но любили: бедные — за щедрость и великодушие, богатые — за любезность, снисходительность и постоянную готовность помогать в приумножении богатств. Он никого не разорил, никого не заковал в цепи за долги. Слава его была такова, что, пожелай он поселиться в Ольвии, он мог бы стать ее Пизистратом.

Не малую роль в снисходительности ольвиополитов сыграли слухи о готовящемся персидском нашествии. Оно казалось бредовым вымыслом, но они не могли не верить Никодему, видевшему собственными глазами чудовищные орды, перешедшие Босфор. Скифская опасность бледнела перед этой угрозой. Вот почему самые строгие благосклонно относились к затее Никодема и помогали в его приготовлениях. Ему подобрали артель каллипидов для сопровождения и охраны каравана. Кал-липиды были скифами, но занимались земледелием, жили в непосредственной близости к Ольвии и усвоили эллинский язык и обычаи. Греки считали их своими союзниками, позволяли селиться под самыми стенами города, а наиболее богатые и знатные каллипиды имели собственные дома в Ольвии. Путешествие без них было бы невозможно. Предстояло идти на север через лесистую местность, через необозримые степи, по которым лишь немногие греки решались ездить. Такие поездки бывали раз в десятилетие и о них долго говорили во всех колониях Понта, как о величайшем событии. Несколько лет назад подобное путешествие совершил Перигор из Оль-вии. Его указаниями пользовался теперь Никодем. В свиту к нему попало несколько каллипидов, ездивших с Перигором и знавших дорогу. Никодем должен был проникнуть в расположение орд Скопасиса, повелителя царственных скифов, самых многочисленных и самых суровых, считавших всех остальных своими рабами. Торговлю с ними греки вели через земледельческие племена и упоминали о них не иначе, как с содроганием.

- Лучше тебе вступить в союз с волками, чем стать другом этих разбойников и душегубов, — говорили Никодему. Но он упрямо твердил:

- Когда начинается битва, не овец пускают на врага, но львов и тигров. Если злые победят деспота и разбойные избавят мир от порабощения, то благословенно варварство! Чем неукротимее зверь, тем лучше.

Занимаясь приготовлениями к отъезду, Никодем посещал друзей, устраивал пиры, заходил в храмы, поднимался на городские стены, бродил по тесным закоулкам, угощая босоногих ребятишек сладкими финиками. Бывало, не успев приехать в Ольвию, он уже мечтал о возвращении в Милет. Он ласково презирал ее за грубость, за вонь узких улиц, скрип жерновов, подобный ослиному реву, несшийся из наглухо закрытых домов. Теперь ее шумы и запахи были дороги, как последний отзвук Эллады.

С тихой грустью посещал он некрополь. Там еще стояли столетние стеллы основателей Ольвии и первых поселенцев в этом диком краю. Читая их имена, Никодем проникался теплым чувством родственности и единопле-менности. Все они были выходцами из Милета и камень сохранил их предсмертные приветы своей заморской родине. Поздние поколения

реже упоминали Милет в надгробных надписях, но в них Никодем тоже чувствовал своих земляков. Глубоко печальное и утешающее было в белых мраморах, в поминальных анафорах, в эпитафиях и в коротких надписях: «Гастийон, жена Ираклида и дочь Васи́ла, прощайте!», «Зиновий, сын Зиновия, прощай!»

Никодем завидовал этому тихому пристанищу в земле родного города, под боком у друзей, и отгонял мысль о собственной могиле, которую не будет украшать белая стелла с такой же простой и душевной надписью. Скифские дожди, снега вымоют и выбелят его кости...

В день отъезда горожане стеклись к храму Ахилла, покровителя моря. Там собралась вся богатая и знатная Ольвия. Город пришел проводить Никодема в его необыкновенное путешествие. Скифы-каллипиды, взятые для сопровождения каравана, молились с ним вместе Фаргимасаде, как они называли Посейдона. Они чтили в нем бога нижнего неба. Одеты они были, по обычаю царственных скифов, в длинные кожаные штаны и куртки.

Когда кончился обряд освящения доспехов, Никодем тут же в храме облачился в латы, взял копье, щит и надел шлем с пышным гребнем из конских волос.

— Это сам божественный Ахилл! — воскликнул восхищенный голос. Его поддержали льстивые возгласы со всех сторон. Сравнивали с Гераклом, с Язоном, Одиссеем, даже с Арасом.

Наступил самый значительный момент. Все знали, что Никодем хочет принести богатые дары в честь Посейдона, своего покровителя, чей трезубец водил его по морям и чье благоволение сопутствовало в задуманном деле. Каждый хотел видеть, чем обогатит их храм безумный милетянин. Ждали щедрой жертвы, но то, что увидели, превзошло самое жадное воображение. К подножию жертвенника поставили серебряный котел, на стенках которого изображалась борьба Тезея с Минотавром. Потом принесли яшмовый щит с головой медузы из чистого золота. Ее змеиные космы лучами распустились по темной зелени диска. За ними следовал меч, вывезенный из Египта, украшенный топазами, золотые и серебряные цепи, слоновые клыки, страусовые опахала, блестящие материи с вышитыми картинами и узорами. Гул восхищения пронесся по храму, взоры светились умилением и когда Никодем обратился к ольвиинцам с прощальным приветом, он увидел лес поднятых рук, лица, светящиеся любовью и уста, источавшие душевные признания. Ольвия еще ни разу не видела столь пышной процессии, когда Никодем, выйдя из храма, сопровождаемый вооруженной свитой, двинулся к городским воротам. Там он сошел с коня, поклонился городу, бурно прижал к груди друзей. Народ с плачем махал шапками, плащами, повязками и долго слышалось:

— Прощай, Никодем.

II

Гипакирис протекал через лесистую местность, лежавшую к северу от Ольвии. Полная болот и стоячих вод, она дышала лихорадками, вредными испарениями и насылала на город болезни. Пройти ее можно было только рекой. Гнилые пни, поросшие мхом ивы, скрюченные стволы деревьев, выросших уродами из-за обилия влаги, торчали по сторонам. Берега порой исчезали и тогда деревья выходили прямо из воды. Открывалось болото, зеленевшее листьями кувшинок, наростами лягушачьей икры, звеневшее от птичьего гомона. Восхищенные цапли замирали на одной ноге, созерцая громаду триэры. Временами река суживалась настолько, что весла упирались в берега. Тогда каллипиды с тревогой всматривались в только что начинавшую распускаться листву, нависшую над водой: они боялись диких племен, населявших лес. Одетые в звериные шкуры, вооруженные копьями и луками, жители лесов ревниво охраняли свои дебри от чуждого вторжения. За каждым кустом, на каждом повороте реки могла притаиться смерть. Никодем часто видел зловещее дрожание ветвей в прибрежных зарослях и слышал стук барабана в чаще. Он звучал, как глухие удары в дверь.

Гипакирис — тихий, спокойный — то змеился по лесу, то тянулся прямой линией.

Никодем настоял, чтобы триэра шла не только днем, но и ночью. Это было опасно из-за незнания реки и ее поворотов, но он велел освещать путь огнем, разведенным в железной клетке, подвешенной на длинном шесте к носу триэры. Стволы и сучья вставляли тогда костлявыми привидениями, черными чудовищами поднимались из пылавшей воды коряги, а две лодьи с конями и ослами, шедшие на прицепе, как горы, и громоздившиеся на них кучи сена угрожающе чернели. Рулевые на лодьях и на триэре постоянно перекликались. Рабам страшно было от этих криков, будивших заснувший лес и долго не смолкавших в его недрах. Иногда реку заволакивало туманом и тогда суда останавливались и прислушивались в темноте к шорохам и вздохам леса.

Три дня шли по Гипакирису. На четвертый — подошли к месту, где река суживалась и была завалена большими деревьями. Отсюда начинался пеший тракт в глубь Скифии.

В лесу гудел барабан, точно били палкой в выдолбленную колоду. Никодем сошел на берег в сопровождении десятка человек и углубился в заросли. Тропинка вилась между кустов корявых ольх, выступающих из земли корней и не позволяла видеть дальше, чем на несколько шагов. Каллипиды предупредили, что всякий, вступающий на тропинку, отдает себя на милость лесного народа. Никодем в этом убедился, когда на одном из поворотов каллипиды, повалившись на землю, змеями расползлись по кустам, а возле правого глаза Никодема задрожала стрела, вонзившаяся в древесный сук. Из чащи раздалось воркование голубя. Каллипиды ответили чем-то, похожим на собачий лай, и позвонили в бронзовую посуду. В ответ опять заворковали.

Когда углубились в лес на добрую стадию, открылась поляна. Там расставили посуду, разложили топоры и всё, взятое с триэры. Монисто и ножи положили на высокий пенёк. Это означало, что они приносились в дар. Потом каллипиды срезали два высоких шеста и вбили концами в землю, положив на них перекладину, наподобие ворот. На ней сделали столько зарубок, сколько было людей, коней и ослов у Никодема. Вернувшись на корабль и выждав время, Никодем снова послал людей в лес. Они принесли бобровые шкуры, кабаньи клыки и выдолбленный деревянный лоток с дикими сотами. Каллипиды были веселы, потому что перекладину с зарубками нашли снятой. Лесной народ не препятствовал прохождению в степь.

Когда ослы были нагружены, кони оседланы и люди готовы, Никодем спустился в трюм.

— Я обещал вам свободу, — сказал он гребцам, — и я сдержу свое слово. Отныне вы больше не рабы. Каждому я написал отпускную и, когда вернетесь в Ольвию, вы получите их вот у него. — Он указал на кормчего. — Кроме того, в награду за службу и в воспоминание о вашем господине, вы получите по двадцать драхм серебра. Это даст возможность вам вернуться на родину и обзавестись собственным домом. Триэру со всем, что на ней осталось, дарю вам. Припасов на ней столько, что хватит для возвращения в Ольвию и даже для плавания в Милет.

Он приказал надсмотрщикам снять цепи с гребцов. Кормчий и палубная прислуга плакали, но гребцы хранили мертвое молчание.

Никодем сошел на берег и сел на коня. В окна было видно, как он тронулся с караваном и исчез за деревьями. А гребцы продолжали сидеть изваяниями. Обрушившаяся свобода придавила их тяжелым камнем. Потом трюм дрогнул от звериного рева. Люди вскакивали с мест, махали руками, плясали и выли. Они вырвались на палубу, перевернули всё вверх дном и стали ломать корабельное имущество. Кто-то крикнул:

— Бей надсмотрщиков!

Надсмотрщики были предметом годами накапливавшейся ненависти; их свистящие бичи снились гребцам в коротких кошмарных снах. Мысль о том, что эти люди, пившие их кровь, находятся в их руках — поразила гребцов. На миг они притихли. Потом с невиданной яростью начали истребление вчерашних палачей. Палуба окрасилась кровью и на снастях повисли дымящиеся внутренности. Приступили к кормчему, требуя выдать отпускные грамоты. Он вынес ларец с папирусами и отдал каждому его документ. Рабы беспомощно

держали их в руках, не зная, куда положить и что с ними делать. У многих они скоро были смяты и разорваны. Но кормчего не отпустили, от него потребовали немедленной выдачи двадцати драхм серебра.

— Серебра здесь нет, вы его получите в Ольвии.

— Он хочет украсть наше серебро! В воду его!

Ворвались в каюту, обыскали все углы и не найдя денег, убили кормчего. После этого, как мыши, рассыпались по триэре, проникали во все щели и вытаскивали всякую мелочь. Добрались до вина и пищи, открыли безудержное пиршество. Никогда не евшие досыта, истребляли теперь огромное количество припасов. Перепившись, заводили ссоры и драки. Вспомнили, что надо возвращаться в Ольвию, но никто не хотел садиться за весла. Их начали рубить, ломать и из обломков разводить костер на берегу. Образовались враждующие группы, вступавшие в кровавые стычки друг с другом. К ночи большая часть рабов мертвецки спала на триэре и в лодьях с сеном, а остальные либо галдели, сидя у костра, либо носились с горящими головнями по берегу.

В полночь сено и солома на лодьях вспыхнули гигантским пламенем; пожар перекинулся на триэру. Она факелом пылала до утра, похоронив в своих недрах пьяных гребцов. Спаслись немногие. Дрожащие, беспомощные топтались они на берегу и один за другим пали от стрел и копий невидимого врага.

III

А Никодем, пройдя сумерки леса, вышел под яркое небо, показавшееся ему новым и невиданным. То было небо степей — высокое, кристально прозрачное — Божественный купол, соответствующий широте мира.

- Друг мой, — сказал Никодем каллипиду, указывая на степь, — мы входим в пустынный храм, но не кажется ли тебе, что он торжественнее всех украшенных святилищ и ближе сердцам богов? Эта необозримая орхестра создана самим Зевсом и предназначена для великих действ, для священных мистерий. Ничто мелкое и пошрое не может произойти на такой земле. Блаженно всё живущее в этой обители пространства, оно ближе стоит к тайнам мироздания, чем мы.

- Да, — ответил каллипид, — мы вступаем в расположение счастливого племени: оно никогда не сеет хлеба и имеет сотни тысяч кобыл.

На краю света

I

Атосса велела разбить свой шатер в степи недалеко от Истра. Там пахло непросохшей землей, тленом прошлогодних трав и чуть заметной свежестью пробивающейся зелени. Степь расстилалась пустынная и унылая. Ничего, кроме туч, грузно плывших из туманной дали.

Уставши от созерцания голой равнины, царица обращала взор к реке, где стоял город кораблей. Там, на берегу, с невиданной быстротой вырастали две бревенчатые башни. Они уперлись в небо, как столбы гигантских ворот, и на них втащили громоздкие снаряды для стрельбы дротиками и стрелами. Атосса поднялась туда, чтобы лучше видеть степные дали. Степь раздвинулась, стала шире, но оставалась такой же безмолвной, бесприютной. Только синяя полоса горизонта выглядела мгlistой завесой, за которой склублилось недоброе, подстерегающее. Впиваясь глазами в эту засасывающую синь, Атосса прозревала такое, отчего ей становилось страшно. Тогда она отворачивалась и смотрела на Истр.

У подножья башен громоздились корабли, сустились тысячи рабов: Мандрокл творил

свое второе чудо. Части моста, заготовленные, помеченные краской, укладывались быстро в соответствии с замыслом. Крепкие бревна вцеплялись в борта, повисая над водой правильными рядами.

Гармония строительства покорила Атоссу, и она подолгу смотрела, как деревянные ребра смело схватывали дикую, от века свободную реку.

Однажды утром ее разбудил шум. Семерых воинов, стоявших ночью на страже, нашли зарезанными. Волосы их были содраны с головы вместе с кожей. Тираны заволновались. По требованию Гистиэя, шатер царицы перенесли с берега на корабль. Но в следующую ночь якоря четырех судов, поддерживавших мост, оказались обрезанными. Балки заскрипели и затрещали, сорванные течением корабли глухо ударялись о нижестоящие. Пентэра Атоссы получила столь сильный толчок, что царица упала с своего ложа. В поднявшейся тревоге долго не могли открыть причины смятения. Когда же она выяснилась, Гистиэй пришел в ярость.

— Измена! Здесь скрывается враг, тайно вредящий делу царя царей. Пусть я не увижу Милета, если утром же не найду его и не разрублю голову мечом!

Но поиски оказались безуспешными.

Греки насторожились, стали держаться плотными кучками и постоянно озирались. Подозревая рабов, они не пускали их в трюмы ночевать, но каждый вечер стогнали на берег. По утрам многих находили убитыми. Рабы плакали, умоляя не лишать их защиты и не отдавать в жертву таинственному врагу.

— Это духи степей, — говорили они, — пьют по ночам нашу кровь.

Когда вечером надвигалась синяя мгла, в ее сгустках и космах чудились степные страхи, подкрадывавшиеся из диких стран.

Как-то раз увидели копьё, вонзившееся в бревенчатый сруб предмостной башни. Оно было загадочно расписано белой, синей, красной красками. Рабов это повергло в отчаяние, они бросили постройку и стали готовиться к смерти. С трудом заставили их возобновить работу.

С этих пор глубокая складка заботы не сходила со лба Гистиэя. Он то появлялся на мосту, то всходил на башню, всматриваясь в ту сторону, откуда ждали появления царских войск. Тиран ждал их, как пловец спасительного берега.

И вот они появились. Сначала несколько белых снежинок, потом пятна плесени, менявшие форму, наконец, большая лужа, медленно растекавшаяся по равнине. Великое воинство Дария, прошедшее фракийские горы, сокрушившее по пути племена, враждовавшие с самим небом, достигло скифских степей. Его заметили в полдень, а к вечеру первые всадники подошли к Истру. Они поили коней, сновали по берегу и с каждой минутой увеличивались в числе. В сумерках, с шумом горного обвала, надвинулись колесницы. Всю ночь скрипели телеги, ревели верблюды, гудела несметная толпа, а утром правый берег Истра, насколько хватал глаз, кишел людьми, конскими табунами, стадами мулов, буйволов, среди которых прямыми и ломаными линиями чернели ряды выпряженных колесниц, сверкали белые города палаток.

С приходом войск греки ободрились. Степные страхи отступили, но зато, как звери, облегли равнину, притаившись в синей мгле горизонта.

Войска принесли воспоминания о родине, о далетх Сузах. Атосса не радовалась. Там у нее ничего не осталось, кроме большого печального дворца и горьких раздумий. Она полна была далеким, неизвестным и чувствовала: далекое близко.

Степь оживала после холодных ветров, темнела и поглощала новой зеленью старые, сухие стебли. Прорвалось долго сдерживаемое буйство жизни: земля распалялась похотью, шло всеобщее набухание, жадное движение соков, и до Атоссы долетала порой такая волнующая струя, от которой всё тело ее свежело и напрягалось.

II

Однажды раздались ужасные крики:

— Великий Фамуз умер! Умер владыка Фамуз! Адон! Адонаи!..

Значительная часть войска плакала, рвала на себе одежды, бегала по лагерю, заламывая руки. Безумием охвачены были ассирийцы, халдеи и все обитатели долин Тигра и Ефрата. С ними вместе бесновались сирийцы, часть финикиян и жителей азиатского побережья.

- Даму похищен, увы, владыка жестоко похищен!
Дагал-ушумгал-анна похищен, владыка жестоко похищен!

Атосса тайно прислушивалась к плачу.

- Умер, тур ревуший умер, тур ревуший,
Фамуз, тур ревуший умер, тур ревуший умер!
Умер супруг мой, тур ревуший умер,
Я — владычица! Супруг мой умер!

Она велела узнать о причине смятения и была взволнована известием, что наступили дни плача об убитом возлюбленном богини Иштар.

О лучезарном друге Иштар плачет храм Эанны;
О муже степей, который не возвращается,
О лучезарном друге Иштар плачет град Цабелам...

Атосса поняла, что плачут о том, к чьим ногам она припадала в Пафосе и о ком ей самой хотелось плакать.

«Где герой, мой муж?» — стану говорить,
«Я пищи не вкушаю!» — стану говорить,
«Я воды не пью!» — стану говорить,
«О благостный супруг мой!» — стану говорить.

Ее пронзило самое большое горе на земле — горе жены, утратившей мужа. Персы хмурились при виде поющих и неистово кричащих людей, греки отворачивались от варварского зрелища, некоторые смеялись, но никто не мешал печальному празднеству. Шесть дней оплакивали Фамуза и всё это время Атосса переживала страсти богини, как свои собственные. А на седьмой день, когда плакавшие оделись в светлые одежды и запели о воскресшем боге, Атоссе сообщили, что в степи показались скифы. Легкая дрожь пробежала по спине при упоминании страшного имени. Но Атосса потребовала, чтобы к ней привели людей, видевших скифов.

Тогда пришли тираны. Гистизй преклонил колени и произнес речь, вознося достоинства царицы и сокрушаясь, что греки до сих пор не могли почтить ее должным образом. Что они принесли бы? Золото? Но они рисковали оказаться смешными. Царица, если бы захотела, весь путь от Суз до Босфора могла совершить по золоту. Самоцветы? Но остались ли камни, достойные ее? Всё, что добыл Египет, накопил Вавилон, собрала Ассирия — стекло в сокровищницу царя царей. Иония не располагает камнями, которые могли бы равняться самым скромным из тех, что украшают пояс царицы. Греки привели ей живого скифа. Гистизй знал, что сад ее в Сузах был полон пятнистых жирафов, полосатых зебр, серебристых гануманов. Финикийцы продали ей за большие деньги одноглазого циклопа, цари Пенджаба прислали великана, Дарий подарил эфиопа и карлика, а в горах Армении нашли для нее человека с львиным хвостом. К этим существам Гистизй присоединял теперь скифа.

Толпа расступилась и открыла лежащего на траве юношу с золотистой копной

окровавленных волос. Его, как неукротимого быка, держали на двух длинных веревках, привязанных к поясу. Атосса в детстве видела коршуна, которому за разбой сломали ноги, обрезали крылья и бросили умирать близ дороги. Свирепый и гордый клюв ни разу не открылся для жалобного крика, большие янтарные глаза безучастно глядели в пространство, покрываясь время от времени беловатыми плёнками век. Так же лежал скиф, уставившись в землю и не удостоивая взглядом своих мучителей.

Когда царица подошла ближе, его пинком ноги опрокинули на спину. Мелькнули васильки глаз и сочные губы, сложенные не то в улыбку, не то готовые изречь страшную истину, склубившуюся на дне души.

— Уберите его! — закричал Гистизй, — он испугал царицу! Царица падает!..

Рабыни унесли в шатер лишившуюся чувств Атоссу. Очнувшись, она спросила:

— Где он?

— Ждут твоего слова, великая царица, чтобы убить.

— Пусть живет, но не показывайте его мне больше.

III

Потрясение оставило заметные следы. Приближенные шептались друг с другом о болезни царицы. Лекарю Антилиду из Галикарнаса приказано было несколько раз в день посещать Атоссу. Он говорил:

— В основе всего огонь. Это его мельчайшие частицы в бесконечных соединениях, тайна которых скрыта от нас, — образуют мир. Человек, как все предметы — порождение огня. Скопления его не одинаковы для всех людей; они не одинаковы так же для всех частей тела: густота огненных частиц всегда больше бывает в голове и в груди. Недуги наши происходят от нарушения этих скоплений. Великая дочь Кира унаследовала от царственного родителя настоящее пламя, составляющее сущность ее благородного тела. Но вдыхаемая сырость реки вступает в противоречие с сильным скоплением частиц огня. Бледность и подавленность духа царицы есть результат борьбы огня и воды, которая тоже является особым состоянием огня, но состоянием слабым, разреженным. Как только уйдем с сырых берегов Истра, действие паров ослабнет и царица обретет прежнюю бодрость и силу.

IV

Когда трава достигла высоты локтя и зацвели кроваво красные цветы с узкими лепестками, Дарий велел выступать. Он созвал тиранов эллинских городов и приказал им оставаться на Истре — стеречь мост и корабли. Он дал им ремень с шестьюдесятью узлами с тем, чтобы каждый день развязывать по одному узлу.

— Когда развяжете последний и меня не будет, — плывите домой.

Гистизй выступил вперед и положил перед царем большой нож.

— Это зачем?

— Чтобы перерезать мне горло, если я посоветую что-нибудь недостойное.

— Говори.

— Царь, ты идешь в страну, о которой ни ты, никто из окружающих тебя ничего не знают. Яви милость, возьми с собой человека, которого я укажу. Это Агелай, чья верность мне, а следовательно, тебе — тверда, как меч. Он не обременит тебя и не будет назойливо вертеться у твоего шатра, но он подаст не один добрый совет, когда ты окажешься в затруднении. Этот человек бывал в степи и знает скифов.

Агелай предстал сухой, горбатый, с чахлыми волосами на подбородке. Свита взялась за бороды в знак изумления. Она готова была засмеяться и ждала соответствующего проявления на лице царя. Дарий тоже был удивлен, рассержен, но, подавив гнев, чуть заметным движением дал согласие на просьбу Гистизя.

Начался переход.

Дарий хотел снова, как на Босфоре, насладиться видом своего могущества. Ему соорудили пирамиду с тронном на вершине, а все уступы заполнила сверкающая свита. Но солнца не было в этот день, из-за Истра тяжелыми кораблями плыли тучи, под их пологом кружилось синее воронье. Что-то неуловимое пробежало по лицу царя. Он долгим взглядом обвел приближенных, заглядывая каждому в глаза. Ответные взоры, как всегда, ничего не выражали, кроме подобострастия. Только милетский тиран встретил его таким же долгим испытующим взглядом. Дарий вспомнил его недавние слова: «Истр — река раздумий. Всякий, вступающий в Скифию, должен долго думать над нею».

Ариарамн, с обнаженным мечом, стоял на мосту, дожидаясь мановения царской руки. Рука не поднималась. Дарий сидел молчаливый, непроницаемый, и только Гистиэй догадывался, какие вихри закружились в душе царя. Он еще раз обратился к трону, но Дарий, бросив на него украдкой последний короткий взгляд, гордо выпрямился и подал знак.

Когда затрубила царская труба, Дарий не узнал ее звука: он походил на мычанье коровы и затерялся в степных даях. За мостом начиналась плоская, неохваты-ваемая глазом равнина, поросшая сочной травой. Как только конница, прогремев по мосту сверкавшими подковами, ступила на скифский берег, она точно провалилась в землю по колено. Кони и люди становились маленькими, а слоны выглядели навозными жуками. Сдвинув брови, царь следил за уходящими вдаль черными потоками, похожими на паучьи лапы. Степь травой и просторами пожирала величие его воинства. Особенно поражала тишина того берега. Дарий привык, чтобы от его войска исходил гул, наполнявший окрестность и заставлявший смолкать всё другое. В нем он слышал свою грозу, величие и шелест крыльев победы. Здесь этого не было. До него долетали — топот ног, стук колес по деревянному настилу, но как только кони, люди, колесницы касались скифской земли, они точно проглатывались тишиной. Бряцающий, шумящий поток, только что громыхавший по мосту, продолжал двигаться на том берегу беззвучным видением. Казалось, всё войско — полк за полком — переходит в иной мир, в иную жизнь.

А вдали сгущалась мгла и угрожающе синела полоса горизонта.

Просидев до полдня, Дарий ушел.

В степях

I

Три дня шел Никодем со своим караваном. Серая цепочка всадников, коней и ослов так сливалась с равниной, что едва различалась издали. Не потому ли их ни разу не заметили из стоянок, мимо которых они проходили? Один раз — это было вечером — люди указали Никодему на что-то, красневшее в лучах заката, похожее на кучу камней. Еле уловимый лай и выкрики доносились оттуда. Потом всё подернулось синью и пропало. В другой раз ничего не было видно, только слышалась песня, похожая на крик, рассчитанный быть услышанным на краю света.

Никодему казалось, что он умер и теперь вновь родился в неизвестном мире. Эллада, Милет, даже недавняя Ольвия вспоминались, как отголоски той первой жизни. Степь расстилалась пустынная, немая, но полная скрытых сил и неуловимого звучания. Всё великое в природе одарено звучанием. Он знал тонкое, как волос, пение Ливийской пустыни, глухие, чуть слышные удары в медь, исходящие от гор Ливана, и теперь всем сердцем слушал голос степей.

Земля еще пахла сыростью и гниением прошлогодней травы, но уже сквозь рыжий покров проступала бодрая щетина новой зелени. Оттого равнина подернулась мреющим светом, похожим на тихое горение. Это была та первая зелень, что приносит в мир радость обновления. В каменистых, песчаных странах, где протекала жизнь Никодема и где не бывало полного умирания природы, он никогда не знал свежести возрождения. Только раз в

Египте, в сыром склепе храма Озириса, видел щит, покрытый слоем земли, поросший густой щеткой овса. Узкое отверстие в потолке освещало зеленую поросль, и Никодем содрогнулся от ощущения тайны возникающей жизни. Он вспомнил об этом теперь, глядя на зелень скифских степей.

Равнина лежала обнаженная. Большие птицы, как купальщицы, которым нечем прикрыть наготу, стыдливо бежали прочь. Трава была так низка, что не закрывала гнезд с пестрыми яйцами, встречавшимися на каждом шагу. Самки часто оставались в гнездах, несмотря на приближение каравана, и Никодем каждый раз бранил афинских и милетских болтунов, уверявших, будто скифские птицы не садятся на яйца, а покидают их в гнезде, заворачивая в заячьи и лисьи шкуры. Лисиц было много, они, как собаки, бежали возле каравана, с любопытством рассматривая людей.

А из степной дали неслись вопли глубокой тоски и отчаяния. Там хлопьями взлетала и падала пена, выбрасываемая невидимым кратером. Крики, чем ближе, тем жалобней, пронзительней. Блеснул осколок воды, обрамленный желтой осокой, и Никодем скорей ощутил, чем увидел вьющуюся по полям речку. Над заводью стонала толпа чаек, полоскались утки, проносились стрижи и ласточки, лилиями белели лебеди. Увидев на другой стороне кабана, пробиравшегося к воде, показавшуюся из осоки голову козули, он велел каравану далеко обойти это место.

Здесь обитает Агра.

На ночь остановились у небольшого озера, откуда лежал путь на львиный камень. На озере шла немолчная возня и криканье уток. Ночью слышались всплески рыб, блеяние водяного барана, писк пичуг, похищаемых совами.

Никодем заснул ясным сном ребенка и пробудился перед рассветом от непонятного беспокойства. Земля дрожала. Люди переносили поклажу с места на место.

Из нее воздвигли полукруглый вал, высотой с человека. Взбравшись на него, каллипиды размахивали палками, тряпьем, снятыми с себя одеждами. С глухим гулом что-то ползло со всех сторон; храп и фыркание наполняли серую мглу.

Это шли кони. Десятки тысяч коней. Неизвестная сила гнала их в этот час к неведомым полям и травам. Жеребята пугливо жались к кобылам, пытаясь на ходу схватить набухшие сосцы, но матери отталкивали их и молоко синеватыми каплями проливалось на землю. Лагерь оказался в середине гигантского табуна. Люди выбивались из сил, борясь с напором животных. Когда рассвело, Никодем ясно увидел у коней черную полосу вдоль хребта. Короткая грива, отсутствие чолки и бодрая маленькая голова придавали им задорный, неукротимый вид.

— Привет вам, мужественные кони Скифии! — воскликнул Никодем. — Да вселят боги новый огонь в ваши храбрые сердца и да помогут сокрушить надменных коней всемирной тирании!

Солнце взошло. Кони продолжали напирать на стену из поклажи и расходились в стороны, как волны, разрезанные корабельным носом. Они шли до полудня и за всё это время люди не переставали махать палками и одеждами. Никодем был в восторге.

— Радуйтесь, друзья! Это боги послали нам первый знак скифской мощи. То ли увидим еще?

К вечеру караван достиг львиного камня. Он издали чернел, вызывая страх. Это был громадный блок, грубо обтесанный наподобие обелиска. Верхушка его, изрытая впадинами, смутно напоминала голову льва. Отсюда начиналась земля царственных скифов.

По словам каллипида, настоящая степь раскидывалась только в этих местах. Чтобы пройти ее всю, нужен год, но кто достигает предела, тот не возвращается. Там начинается непроглядный мрак, в сгустках которого зарождаются звери и чудовища. Раз в несколько столетий оттуда выходят многочисленные народы, потрясающие вселенную. Некогда оттуда вышли киммерийцы, а потом скифы. Эти народы — бичи богов, они посылаются в наказание человечеству.

— Ты восхищаешь меня! — воскликнул Никодем. — Возьми этот браслет и пусть он

напоминает тебе сегодняшний день. Но в твоих суждениях о скифах есть неправда: не в наказание, а во спасение человечеству послал их Зевс и, если мы счастливо закончим наш путь, — ты будешь свидетелем чуда.

II

На другой день увидели запряженные волами повозки с войлочными верхами, стада овец, табуны коней и тучу всадников. Всё это со скрипом, плачем, гамом двигалось наперерез каравану.

— Скифы! Скифы! — шептал восхищенный Никодем.

Пока каллипиды с тревожными лицами сгоняли караван в кучу, он весь предался созерцанию приближавшихся наездников. Те двигались медленно и галдели, как птичья стая. От них долетало страшное зловоние, смешанное с запахом конского пота. Никодема поразили волосы скифов, длинные, как у женщин, свисавшие слипшимися прядями из-под острых шапочек. Они долго спорили между собой, махали руками, кричали. Наконец, к Никодему подъехал осанистый всадник и молча уставился на его доспехи. меховую куртку его схватывал пояс с массивной золотой пряжкой, изображавшей двух борющихся людей. Он ощупал украшения на панцире, а потом грязными ногтями позвонил по шлему. Никодем дружелюбно улыбнулся и хотел начать речь, но серый конек скифа так больно укусил за бок его лошадь, что та шарахнулась и Никодем едва усидел в седле. Успокоив жеребца и оглядевшись, он увидел, что скифы бьют каллипидов древками копий и отгоняют от выючных коней. Они перерезывали подпруги и быстро стаскивали поклажу. Половина ее уже находилась в их руках. Еще мгновение и богатства Никодема были бы разграблены. В это время скифы увидели ослов, кротко стоявших с огромными выюками на спинах.

Раздался хохот на всю степь. Варвары соскакивали с коней и, присев на корточки, разглядывали добрые ослиные морды. Катались от смеха по земле, приставляли к вискам пальцы, изображая ослиные уши, а какой-то краснобородый, усевшись перед самым маленьким осликом, затянул скрипучую песню, от которой смех поднялся еще больше. Бросили грабеж и столпились возле странных животных. Тогда Никодем приблизился к всаднику с золотой пряжкой на поясе. Тот встретил его грозной речью и, ударяя себя в грудь, произносил:

— Скунка.

Никодем пространно описал цель своего приезда в степи. Он сказал, что возлюбил скифов еще у себя за морем и ныне хочет разделить с ними грозящую им опасность. Он охотно повергнет свои богатства к ногам Ско-пасиса, пусть только позволят ему спокойно дойти до стоянки царя. Скиф его не понял, но при имени Скопа-сиса оскалил зубы и схватился за нож, висевший у пояса. Стоявшие подле скифы тоже нахмурились.

— Скопасис! Скопасис!

В это время приблизился один из калл и пи до и Никодем приказал передать свою речь по-скифски. Узнав, что кладь предназначается Скопасису, варвары прекратили ее грабеж, зато лица их засветились звериной злобой.

— Ты счастлив, — услышал Никодем, — ты прибыл удачно: десять дней скифы не могут никого убивать. Если бы не это, кожа твоя была бы содрана, а мясо склевали бы птицы.

На вопрос о причине такой неприязни, скиф взял за свою золотую пряжку на поясе.

— Разве ты не знаешь, что я Скунка? Я такой же царь, как Скопасис, но ты меня не почтил.

Никодем велел развязать большой тюк и высыпал груды сверкающих мечей и наконечников для стрел и копий.

— Все скифы одинаково близки моему сердцу. Тебе, царь, я воздаю такую же хвалу, как Скопасису. Близок день, когда все мы устремимся против общего врага.

Оружие было мгновенно расхвачено. Любовались его блеском, проводили пальцем по

лезвию, пробовали на зуб и на язык. Но злоба не утихала.

Помахивая превосходным мечом, Скунка бросал исподлобья недобрые взгляды на Никодема. В лице его мелькнуло вдруг лукавство и веселье.

— Я пропущу тебя. Но ты должен передать мой привет Скопасису. Скажи, что Скунка ему низко кланяется. Вот так. — Он повернулся, приподнялся в седле и, скинув кожаные штаны, показал Никодему свой грязный зад.

Никодем оглушен был взрывом хохота. Всюду виднелись трясущиеся бороды и суженные щели глаз.

— Кланяйся Скопасису! — кричали варвары и каждый, подобно вождю, обнажал перед Никодем свой зад.

В степи еще долго гремел их смех, когда они тронулись вслед удалявшимся стадам и повозкам. А потом притихли, затянули песню и до Никодема долетели звуки такой тоски и безысходной грусти, от которых всё лицо его преобразилось и он не двинулся, пока скифы не скрылись в бесконечной дали.

III

Приближение к царскому становью почувствовалось по оскудению птиц и зверей. Зато всадники стали попадаться чаще. Возникали, как из земли, и так же внезапно пропадали. Степь уже знала о приходе Никодема и следила за ним тысячью глаз.

К полудню прошел свежий весенний дождик, зелень заблестела ярче, показалось солнце и в громадной радуге, вставшей, как врата иной, неведомой жизни, возникло несметное множество войлочных шатров и кибиток. Никодем в молитвенном молчании возблагодарил богов за великую милость.

— Мы пришли, — сказал он людям и роздал богатые подарки. — Теперь всякий, кто чувствует ко мне расположение, пусть помолится и пожелает совершить мой путь служения отчизне так же успешно, как мы совершили свой путь сюда.

Подъезжая к становью, увидели толпу косматых, грязных людей. Вытянув шеи, в полном молчании они жадно разглядывали караван, но метнулись прочь, как только Никодем направил к ним своего коня. Ноги у всех были спутаны ремнями, как у лошадей, выпущенных на пастбище. Сзади у каждого болтался конский хвост. Такой же табун попался совсем близко от становья. На этот раз Никодем заметил пастуха с длинным бичом, погонявшим хвостатое стадо.

Из становья неслось многоголосое конское ржанье.

Теперь стало ясно, что это не сплошное селение, но множество лагерей. Каждый опоясывался плотным кольцом повозок и над этими колесничными валами белели конские черепа.

Народ метался, как при приближении врага. Женщины, голые дети, собаки и бараны бежали под защиту повозок. Когда караван подошел, лагеря походили на крепости, севшие в осаду. Продвигаясь между ними, Никодем зашел в самую середину их расположения и всюду видел куполообразные войлочные палатки, сбитые в кучу и окруженные телегами, а из-за телег — по-волчьи уставленные глаза цвета речной воды, холщевые хитоны, одежды из грубой овечьей шерсти и детские головы, белые, как лен.

Никодем приказал говорить каллипиду, но скифское слово не вызвало движения на лицах у женщин. С ними объяснялись знаками, показывали блестящие предметы, ткани. Не выдержав, Никодем стал обзывать их худыми словами. Тогда, прямо перед ним, на повозке возникла тощая фигура с темными впадинами глаз. Воздав руки, она воскликнула:

— Благословен этот день, что я слышу эллинскую речь, впервые за столько лет! Кто бы ты ни был, господин, пусть тебе сопутствуют боги и да помогут они выйти из звериного логова, в которое ты зашел.

— Кто ты? — спросил Никодем.

— Я Феогнид из Херсонеса. Я был богат и славен, но рок поразил меня за жадность к

золоту и за святотатственное углубление в неведомые земли. Уж двадцать лет, как я ослеплен варварами и занимаюсь доением кобыл. Если ты угоден богам, попроси мне у них скорую безболезненную кончину.

— Кому ты служишь и кто твой господин?

— Мой господин?.. Ты слышишь его ржанье. Сегодня все скифские рабы служат коням, я же — самому неукротимому из них — жеребцу Божию, владеющему женой, детьми, палаткой и всеми богатствами своего хозяина.

Никодем нахмурился.

— Либо боги помрачили твой разум, слепец, либо ты вздумал смеяться надо мной.

— Нет, добрый господин, всё, что я говорю — правда. Ты прибыл в тот день, когда кони становятся господами, а скифы превращаются в коней и уходят в поля пастись.

Никэдем теперь ясно различил, что свирепое ржанье несло из закрытых наглухо палаток. Он был в великом смущении, узнав, что и царь Скопасис, покинув жилище, пасется в степи в подвязанном конским хвостом, а в царской палатке неистовствует его конь. Слепец сказал, что ни в одно из закрытых становий не следует стремиться.

Никодем расположил свой стан на открытой поляне. С колесничных валов за ним следили тысячи глаз, но никто не вышел и не приблизился.

Спустился вечер. От палаток понесло едким дымом, слышались крики, лай, беспокойное ржание. К полуночи всё стихло.

Тогда из степи стали доноситься не то голоса зверей и птиц, не то скрипы повозок. Чуть заметный ветерок обдавал запахами прелой земли, сырости и зелени, от которых Никодем впадал в мечтательную дремоту. Ему снилось далекое пение, видел себя у большой реки, на другом берегу которой стлался синий дым и возникали неясные лица.

— Там — свершение обетов, — сказал кто-то над самым ухом.

Никодем обернулся. Это был конь.

— Кто ты?

— Я царь Скопасис.

Он затряс головой и белыми, как пена, зубами вцепился в плечо Никодему. Кусал не больно, но дергал из стороны в сторону.

— Вставай, господин!

Было светло. Никодему показалось, что рабы дрожат от утренней сырости. Он и сам испытал нечто вроде трепета, когда оглянулся по сторонам. Плотным кольцом их окружало большое конное войско.

С лицом, смятым от сна, со спутанными волосами и бородой, он стал приветствовать скифов, превознося их царственную осанку и грозное воинское обличье.

— Если каждый из вас достоин быть царем, то каков же царь, что правит вами? Я пришел сказать ему великое слово и возвестить всему народу наступление времен славы. Приближается день, когда каждому из вас суждено стать бессмертным в веках!

Воодушевившись, он стал употреблять красивые жесты, заученные у знаменитых ораторов, и речь его потекла плавно и стройно. Но когда опустил руки, чтобы, сделав шаг назад, воздеть их к небу, он оказался не в состоянии ими пошевелить. В следующий миг почувствовал себя поверженным, всё завертелось и от страшных толчков в плечи, в голову, в ноги он лишился чувств.

IV

— О господин! Неужели ты должен погибнуть ужасной смертью? Мы согласимся еще раз быть проташенными на аркане через всё становье, лишь бы не видеть тебя таким, как сейчас.

Окровавленный, в изодранной одежде, привязанный к столбу, Никодем был страшен своим рабам, привыкшим видеть его сверкающим и грозным. Сами они, истерзанные и спеленутые ремнями, валялись у его ног, но о себе не думали. Их слух терзали ликующие

крики варваров, грабивших караван. Пленников забыли.

Они пробыли на пустыре весь день, мучаясь от жажды и голода. Ремни жестоко врезывались в тело. А вечером, когда степь окуталась сыростью, у рабов застучали зубы. Один Никодем не замечал ни боли, ни холода. Он терзался более страшной мукой. Неужели все, говорившие о безумии его замысла, правы, и он напрасно погубил свои сокровища и самого себя? Мысль эта приводила в исступление и, когда в становьи потухли огни и замолкли голоса, он бессильно повис на поддерживавших его ремнях и стал просить у богов скорой кончины. Впав в забытие, он долго носился в мире неясных призраков, пока не очнулся от чьего-то близкого присутствия.

— Жив ли ты, господин?

Это был Феогнид из Херсонеса.

— Зачем ты пришел, слепец? Или чуешь во мне скорого твоего товарища по доению кобыл?

— Нет, добрый господин, тебя ждет другая участь, ты будешь закопан в землю по самую шею и потом тебе отрубят голову.

— Ну, значит я счастливее тебя.

Слепец умолк. Никодем долго слушал его старческое дыхание.

— Скажи, господин, если мы здесь умрем, попадем ли мы в свой эллинский Аид или нам суждено пребывать в скифском Тартаре? Эта мысль меня постоянно смущает, иначе я не стал бы гневить богов цеплянием за недостойную жизнь.

Никодем усмехнулся.

— Я слышал, что Тартар мы проходим при жизни, а после смерти от нас ничего не остается и мы сливаемся с космосом. Впрочем, успокойся, говорят также, будто боги принимают нас в свое лоно и мы становимся частицами божества... Но уйди, слепец, и не мешай мне думать.

Феогнид вздохнул.

— Я пришел, господин, чтобы освободить тебя. Беги, если можешь, а я пожил и вряд ли найду более достойный случай пожертвовать жизнью.

Привыкший встречать зло и бороться с ним, Никодем пережил от этих слов непривычное душевное состояние, похожее на болезнь. Поборов его, он сказал:

— Тому, кто так неистово стремился к скифам, нельзя бежать от них. Я сам избрал свою долю. Иди.

Слепец удалился.

Утром галдящая конная орава надвинулась на Никодема. Кто-то пустил копье и оно со свистом вонзилось в столб над самой его головой. Стреляли из луков, но стрелы, задевая волосы, пробивая одежду, свистя мимо ушей, не причинили ему ни одной царапины. Когда же рыжебородый, громче всех кричавший, подъехал, ударил Никодема с размаху копьем в лицо, лежавшие на земле рабы испустили громкий вопль. Но не успело жало копья коснуться щеки, как скиф молниеносно отдернул его назад. Это произошло так мгновенно, что Никодему не было времени испугаться.

Его отвязали и поволокли.

В обширном пространстве, окруженном повозками, стояло всего четыре палатки, но они были большие и пышно украшены. Никодему запомнились громадные туры, бежавшие по круглым стенам одной из них.

Перед нею на белом, грубо отесанном камне сидел человек, молча уставившийся на Никодема. Пока он его рассматривал, можно было успеть объехать верхом вокруг всего становья.

Когда силы начали покидать Никодема, к нему подвели двух каллипидов и заставили держать господина под руки.

Конная толпа сгрудилась около сидящего на камне и один, с лицом филина, ткнув копьем в сторону Никодема, спросил замогильным голосом:

— Что ты замышлял против царя скифов?

Когда каллипиды передали это Никодему, он не знал, что ответить. Потом, с лицом, загоревшимся надеждой, стал горячо объяснять цель своего приезда. Он сказал, что еще у себя в отчизне узнал про могущество и славу Скопасиса. Он избрал его из всех царей и захотел принести к его ногам свои богатства, дабы послужить делу борьбы со всемирным врагом Дарием.

— Ты дал оружие врагу царя! Ты друг Скунки!

— Ты друг Скунки! — заревела толпа, и когда Ни-кодем пытался говорить, его не было слышно.

Тогда, оттолкнув поддерживавших его каллипидов, он рванулся навстречу скифам, испустив такой яростный вопль, от которого сразу воцарилось молчание.

— Вы заплатите кровью за свое ослепление! Палатки ваши сожгут и разграбят, с коней сдерут кожу, жен и детей угонят в рабство, а сами вы истлеете в полях и станете серыми костями.

По толпе прошел шопот.

— Докажи, — сказал человек с лицом филина.

— Это докажет скоро плач скифской земли, тысячи убитых и тьмы закованных в цепи. Близки уже полчища царя царей. Колесницами он может окружить всю Скифию, как этот лагерь. Горе вам, не внимлющим моему слову! Вы еще живете, но я уже смотрю на вас, как на мертвых!

Он упал на колени и был подхвачен каллипидами. Скифы молчали. Потом разом загудели и, начав жаркий спор, забыли про Никодема.

Он очнулся в пустой полутемной палатке. По круглым полотняным стенам бежали угловатые кони, крылатые собаки, львы, барсы, гриффы, а из вихря завитков проступали не то человечьи, не то звериные глаза и ослабленные рты. Порой слабый ветерок колебал ткани. Тогда чудовища оживали и Никодему, на миг, открывалась душа чужого мира. Он был без небес, без земли, без солнца, он состоял из полумрака и в нем звучала широкая бескрайняя песня, хватавшая за душу. Все травы, цветы, люди и кони были хищны, кровожадны, но печальны и таили глубокое горе.

Пока он так лежал связанный, в лагере началось волнение. Скифы выбегали из палаток и вскочив на коней, мчались в поле. За ними плачущие женщины, дети. В становищах остались только те, что не могли ездить на конях. Старики, сходясь в кружок, сокрушенно качали головами. Что-то будет? Что-то будет?

С запада двигались стада сусликов. Робкие зверьки шли в яростном исступлении. Степь затихала и расступалась перед ними. Голод, мор, гибель кормов, падеж коней и баранов, запустение скифской земли возвещали орды грызунов. Последнее передвижение сусликов было двадцать весен тому назад, перед засухой, погубившей травы, и перед страшной болезнью, унесшей всех младенцев до трехлетнего возраста. Теперь зверьки шли в числе, которого никто не запомнил на своем веку.

Что-то будет? Что-то будет?

Скифы возвращались угрюмые.

Утром к Никодему вошли косматые воины и поволокли с собой. Он очутился в обширном круге, образованном страшным скоплением народа, и только по палатке с бегущими турами узнал место своего первого допроса. На белом камне опять сидел человек, но теперь он держал каменный топор с золотой рукояткой, украшенной клеймами искусной работы. На голове сиял золотой купол, отороченный бобровой опушкой. Никодем понял, что перед ним Скопасис — повелитель царственных скифов.

Большой костер пылал в середине круга.

— Можешь ли дать клятву, что всё, сказанное тобой о нашествии царя царей, — правда?

Не будучи в состоянии говорить, Никодем сделал утвердительный знак. Тогда ему поднесли нагретое железо, начинавшее краснеть.

— Возьми и докажи свою правоту.

Стало тихо. Все взоры устремились на милетянина. Он еще пребывал в оцепенении. Потом, как бы стряхнув огромную тяжесть, выпрямился и сильным жестом схватил железо. Рука задымилась, распространяя острый запах. Всё время, пока калл и пи д произносил за него слова клятвы, Никодем держал раскаленное железо. Когда сказали «довольно», он уже не мог разжать ладонь и железо с приставшей к нему дымящейся кожей, выбили ударом дровка.

— Никто не смеет трогать этого человека! — воскликнул царь.

Упавшего без чувств Никодема отнесли в палатку, рабов его развязали и позволили ухаживать за господином. Ему принесли в дар барана и мех кобыльего молока. К нему приходили теперь приближенные Скопаси-са, подолгу расспрашивали обо всем виденном на Босфоре. Раз от разу лица их мрачнели, но в них немало было и сомнения. Они всё еще боялись давать полную веру его словам.

— Скажи, чем питались царские кони, совершая такой далекий путь? Ведь ты говоришь, что они шли по дорогам, лишенным травы.

— Их снабжали кормом живущие там народы. Царь разорил их земли, приказав вынести ему навстречу все запасы зерна и соломы.

Скифы лукаво прищуривали глаза.

— Какой же конь станет есть солому? Когда нашим коням случается бывать в землях Борисфенитов и забираться в их нивы, они срывают только колосья, но ни один не притрагивается к соломе. И даже зимой, когда они не находят под снеговой корой достаточно полевых трав, они предпочитают сдохнуть от голода, чем есть солому.

Потом расспрашивали о колесницах и были удивлены, узнав, что в них впрягают коней, а не волов, что колесницы быстры, как ветер, и колеса у них не из сплошных досок, а легкие, со спицами.

— Мы подумаем об этом, — говорили они Никодему.

Так прошло несколько дней.

Однажды ввалилась орава скифов и повела Никодема к царю. По дороге приставало много пешего и конного люда, так что к царскому шатру он подошел во главе толпы.

Царь поставил его рядом с собой. По его знаку перед Никодемом разостлали войлок, на который скифы, проходя мимо, складывали браслеты, кольца, гребни, чаши, украшенные пояса, монеты и седла, похищенные из его каравана. Навалили груды оружия, привели его коней и ослов.

— Мы ничего не утаили и возвращаем всё до последней серьги.

Тогда Никодем сказал:

— Я знал, царь, что ты поверишь правде моих слов. Но это оружие я привез для твоих воинов. Что же до этих богатств, то они твои, и я согласен быть только их хранителем. Они даны тебе для победы.

Никодем забыл о страшной боли в руки, о пережитых мучениях и только думал: неужели сбываются его мечты и наступает час служения отчизне, которого он столько ждал?

Он узнал, что царю пришла стрела с зарубками, крестиками и крючками. Острие ее было окрашено ярко красным. Она пришла с берегов далекого Истра и находилась в пути два дня и две ночи. Ее вихрем несли по степям от становья к становью, не задерживая ни минуты. Навстречу мчавшемуся гонцу выводили свежего коня и лучший наездник выхватывал у прибывшего стрелу, чтобы нести до следующей стоянки. Ночью вестники скакали с пучками пылавших трав, издали будили селения пронзительным криком. Стрела возвещала приход врага.

Во все концы поскакали всадники с красными лоскутьями на копьях. По ночам пылали снопы сухой травы. Не успевал догорать один, как вдали желтой звездой вспыхивал другой, потом третий и огненная весть в несколько мгновений проходила необозримые пространства.

Но Скопасису хотелось, чтобы каждый знал, что эта война не такая, как все. Он велел принести котел Дангаза и пустить по становьям. Десять человеческих жизней тому назад,

при нашествии поллюлюдей, полурыб Дангаз звоном этого котла собрал скифскую землю и истребил врага. Никодем поцеловал священный котел из позеленевшей бронзы с трудно различимыми узорами по краям и вдел в его короткое ушко золотое кольцо. С табунами, кибитками, с воинами, женами и детьми шли к Скопасису вожди подвластных кочевий.

— Скоро ты не увидишь травы вокруг становья, — сказали Никодему, — всё покроется людьми, и тогда ты узнаешь, какова мощь нашего царя.

Ему велели показать свою руку. Она представляла гноящуюся слизистую рану. Знахари и заговорщики каждый день колдовали над нею — шептали, поплевывали, присыпали золой, но боль не проходила. Рука стала испускать зловоние и гнить. Тогда пришел человек с безбородым красным лицом, на котором, как два гусиных пера, белели брови, скрывавшие оловянные, ко всему безучастные глаза. Это был Сиберы.

Они сели на коней и выехали из становья. Никодем не узнал степи. Всё рыжее и черное пропало; яркая ликующая зелень захлестнула равнину от края до края. Никогда он не видел такого обилия травы. Сиберы чему-то усмехался, бормотал, кричал коростелем, свистел, как суслик. Из травы ему отвечали. Он звонко тьякнул, когда впереди мелькнуло что-то желтое. Поднялась острая мордочка.

— Ты не лисица, — сказал ей Сиберы, — ты дочь шмеля и серой рыси, ты мне не скажешь про овечий корень!

Потом он остановился перед беленьким цветочком, объехал три раза и, свесившись с седла, завязал узлом верхушки стеблей, стоявших подле. Он спрашивал про овечий корень у земляного зайца, у жаворонков, у летучей коровки, севшей на гриву коня. Нагнувшись к траве, поднял за уши маленького зверька и пока тот пищал и мотал лапками, напевал песенку. И у него спросил про овечий корень, а потом пустил в траву.

Неизвестно откуда взялись могучие быки с белыми полосами вдоль хребтов. Когда Сиберы фыркнул и быки повернули головы, Никодем замер от восхищения при виде необъятной ширины рогов, стремившихся охватить весь мир. Он провожал их взглядом, пока быки не превратились в неразличимые точки. Мелькнуло стадо пасущихся белых овец. То были камни. Сиберы сошел с коня и начал срывать стебельки и листья. Он их нюхал, озирался по сторонам, ползал по земле, искал так долго, что Никодем, забыв про него, предавался своим размышлениям. Очнулся, когда Сиберы предстал перед ним, держа желтый, как зуб, корень. Он разрезал его и положил Никодему на гноящуюся ладонь. В первое мгновение Никодем чуть не вскрикнул от боли, но потом почувствовал облегчение и на обратном пути впал в сладкую дремоту. Он спал всю ночь, весь следующий день и еще одну ночь, а когда проснулся, его позвали на пир к царю.

VI

В бронзовых котлах по всему становью варилось мясо, залитое молоком или ягодным соком с прибавлением душистых трав. Жарились туши кабанов, быков, сайгаков. Жирные дрофы завертывались в сырую глину, клались в огонь, откуда их доставали потом в виде больших желтых камней. Когда разбивали глиняную скорлупу и отдирали вместе с приставшими к ней перьями, разливался сладкий аромат птицы, зажаренной в собственном жиру. Везде громоздились меха с кобыльим молоком.

На поляне выстроились ровным кольцом наездники с копьями, щитами. Они торжественно пили из большой чаши, шедшей по кругу. Молодые скифы, не успевшие убить ни одного врага, стоя поодаль, с завистью смотрели на почетную чашу. Когда она обошла весь круг, воины сошли с коней и уселись на разостланные бараньи и конские шкуры. Внесли яства. Толпа женщин, детей, калек, глазевшая на пирующих, как на богов, громко запела:

- О, кобылы! О, матери кобылы!
Что было бы, если бы вы

Не стали давать молока!

Но самые почетные гости пировали с царем в палатке. То были воины, чьи имена знала вся Скифия. А также вожди подвластных племен. Они прибыли в сопровождении легких дружин, опередив на несколько дней свои медленно движущиеся орды.

Среди прибывших многие не любили Скопасиса, боялись и втайне мечтали о переходе к Иданфирсу. В прошлом они вступали со своим властителем не в одну кровавую битву, но всегда бывали побеждаемы и смиряться. Были и такие, что не желали признавать ни Скопасиса, ни Иданфирса. На той части степей, где изначала кочевали их племена, они считали себя царями и за Скопасисом признавали только первенство и старейшинство. В этот приезд они согласились не носить в его присутствии золотых шапок и золотых чаш у пояса. Впервые в их собрании он один выступал с этими знаками царского достоинства.

Торжество омрачалось отказом трех вождей, среди которых был Скунка. Они сказали:

— Лучше посетить логовище змеи и принять угощение от волка, чем пользоваться гостеприимством Скопасиса.

Но царь был в хорошем расположении духа. Его успели убедить, что опасность, грозящая от персов, сильно преувеличена Никодемом. Каждый день приходили вести с Истра: стало известно про множество кораблей, про высокие башни, но о несметном войске ничего не было. Народ, прибывший на кораблях, не устрасал численностью. Утверждали, что никакого другого войска не будет и жалели о возвращении Никодему его богатств. Приближенные отвергали мысль об обращении за помощью к Агафирсам, Таврам, Исседонам, Гелонам и Неврам. Тем более не стоило мириться и вступать в союз с Иданфирсом. Скопасису сказали многозначительно:

— Тебе, царь, надлежит еще более возвыситься в этой войне.

Скопасис бросал понимающие взгляды на говоривших и хищно приподнимал верхнюю губу. Сегодняшний пир сделает его предводителем всех скифов.

Когда Никодем ступил под купол палатки, он понял, что и в степи возможны грандиозные сооружения. Но всё было голо, как в пустом сарае. Единственным украшением служили бронзовые изображения зверей, свешивавшиеся с потолка. Даже вожди и герои, сидевшие у подножья стен, выглядели серыми, малозаметными. Только золотые чаши, блестящие по кругу, придавали значительность скопищу. И Никодем благословил золото, преобразующее войлочную палатку во дворец, делающее царственным и великим одетого в шкуры варвара.

Скопасис сидел в окружении двух десятков витязей, чья верность скреплена была смешением крови в общей чаше и клятвой последовать за царем в могилу. Справа от него сидел Кена, убивший шестьдесят воинов, двадцать семь зубров, десять вепрей и шесть туров. За ним — рыжебородый Нихарс, убивший пятьдесят пять воинов, восемнадцать зубров и пятнадцать вепрей. Слева — Липоксаикс, убивший пятьдесят воинов, тридцать зубров, двух туров и задушивший голой рукой рысь. Потом Аба — сорок восемь воинов, пятнадцать зубров, три вепря, десять сайгаков.

Никодем приветствовал повелителя скифов поднятием своей изуродованной руки, и ему указали место неподалеку от Скопасиса.

В лимонно-желтом гиматии с бегущим по краям меандром, в красных с золотыми застежками сандалиях, с бородой, лоснящейся от благовоний и с красиво уложенными прядями волос он был вымыслом, сказкой в этой палатке номадов. Степные вожди поднимались с мест и подходили, чтобы подышать исходившими от него ароматами. Дотрагивались до одежд и волос. Когда он пообещал одному подарить такую же одежду, варвар презрительно усмехнулся, с гордостью посмотрев на свой плащ, сшитый из пучков, похожих на бычьи хвосты. То были волосы убитых врагов, содранные с головы вместе с кожей. Черные, рыжие, желтые, иногда седые. И среди них — золотистые, в два локтя длиной, содранные явно не с мужской головы.

Пока Никодем очарованно смотрел на прекрасный скальп неизвестной воительницы —

внесли громадного жареного тура и тут же разъяли на части. Гости заняли места и приняли важный вид. Когда рабы обносили пирующих заветным мясом, каждый впивался в тушу зубами и потом быстро отрезал ножом захваченный кусок. Стали вносить дымящиеся бараньи хребты и конские лопатки, жирных дроф, коз. Чаши наполнились синеватым кобыльим молоком. В нем плавали волосы, грязь, оно пахло прелым бараньим мехом. Но скифы пили с наслаждением и быстро хмелели. Никодем заметил, что некоторые чаши сделаны из черепов, обложенных золотом. Из них пил сам царь и наиболее почетные гости. То были черепа врагов Скопасиса.

Скоро палатка наполнилась пьяными голосами, раздались сверлящие звуки костяных дудок, глухие удары в барабан. Завязались споры и похвальба подвигами.

Тогда Скопасис велел Никодему выйти на середину. Никодем ждал этого и с жаром стал рассказывать вождям о нашествии царя царей. Он рассказал о великом числе войска, коней и колесниц, описал несчетное количество ослов, быков и мулов, но когда упомянул про мост такой длинный, что с одного его конца едва можно различить человека, стоящего на другом, среди вождей начался смех.

Скопасис нахмурился.

— Подними свою руку, — сказал он Никодему, — пусть видят все, что ты был на царском суде и выдержал испытание огнем и железом.

Никодем поведал, что другой такой же длинный мост перевезен на кораблях через море и поставлен на Истре. Через него войско Дария вторгнется в скифскую землю.

Смех усилился. Особенно смеялся вождь траспиев, самый заносчивый и непочтительный в обращении с царем. Он развалился на волчьей шкуре, запрокинув лицо в войлочный купол палатки, борода его прыгала от смеха. Тогда Скопасис, бледный, поднялся и прежде чем гости опомнились — копье его, сделав большую дугу под сводом, с хрустом вонзилось в грудь траспию. Люди вскочили, хватаясь за оружие, а в палатку ввалилась толпа воинов царя. С минуту все стояли, как барсы перед прыжком, ища глазами противника и оскалив зубы. Опомившись, Скопасис воскликнул:

— Он заплатил за свою дерзость, а вы пируйте и не жалейте об этой собаке.

Он велел принести кратеру, расписанную черным лаком, завезенную в Скифию, может быть, самим Никодемом, и приказал наполнить из нее свой кубок.

— Вот я поднимаю чашу с заморским вином. Кто думает одинаково со мной и не таит на меня зла — отопьет из нее.

Отхлебнув душистого, захватывающего дух вина, он пустил чашу в круговую. Но один из приезжих вождей поперхнулся. За ним другой. Красный от гнева царь обратился к воинам:

— Вы видите их двоедушие? С сердцами, полными черных замыслов, они пытаются пить из чаши дружбы!

Воины закричали, замахали оружием. Никодема грубо толкнули так, что он отлетел к ногам царя и, поднявшись, увидел спины людей, кольцом окружавших Скопасиса. В шатре стоял вой, лязг железа, треск ломающихся копий. Гости оказались прижатыми к стене. Их беспощадно избивали. А в палатку валили новые толпы.

Вожди карабкались по деревянным ребрам остова под самый купол и падали оттуда, как перепела, пронзенные стрелами. Другие разрезали войлочные стены, пытаясь выскочить наружу, но там их побивали каменными палицами. К Скопасису неслись клятвенные уверения, обещания богатого выкупа, простирались руки, умолявшие о пощаде.

С остановившимся взором, ничего не понимая, Ни-кодем шатался, как пьяный. Он застыл в ужасном сне, а когда очнулся, палатка пустела. Открылись забрызганные кровью стены, яства, смешавшиеся с мозгами, полуотрубленные головы, торчащие из ребер копья. Два рыжих скифа добивали раненых.

Не успели убитых привязать к конским хвостам и выволочь в степь, как пришла весть, что на Истр прибыло столько врагов, сколько скифский ум не в силах сосчитать.

В походе

I

Персы всю жизнь воевали в странах с твердой почвой. Ступая по мощеным дорогам Вавилона, по каменистым ущельям Кавказа и Тавра, по затвердевшим пескам Сирии. Они привыкли слышать дрожание земли от своей поступи. В степях их топот поглощался травой и мягким, как ложе, грунтом. Колесницы чуть возвышались над ласкавшимися головками стеблей; бронзовые колеса, врезуясь в почву, не издавали ничего, кроме скрипа.

Дарий хмурился. Особенно невыносим был вид коней, когда-то рвавшихся из упряжи, а теперь умиротворенно шедших по брюхо в цветах. Он велел вытянуть войско в колонну. Впереди пошли конница и верблюды, а по примятой ими траве двинулись колесницы, оставляя за собою полосу взрытой земли. Пешее войско месило ее, растаптывало в пух, обращало в пыль, поднимало в воздух и окутывалось тяжелым дымным облаком. Сотни тысяч ног вытаптывали и выбивали жирную землю до тех пор, пока под нею не открылись бурые пески. Задние полки шли по песку. Он вырывался в степь при каждом дуновении, засыпая ненавистные травы. Аравийская пустыня вставала из-под скифского чернозема.

— Это первая борозда, проведенная плугом твоего могущества, — сказал царю Ариарамн. — Скоро вся Скифия будет вспахана и там, где ты пройдешь, не вырастет ни одна былинка.

Но победив траву, Дарий не вернул величия своему войску. Справа и слева подстерегали степные пространства, десять китов заходили с края небес, собираясь пожрать вселенную, а с другого края, белее пены, поднимались шлемы несметного воинства. Оно встало горной грядой, охватившей весь восток. Плыли синие глыбы, величиной с Олимп. Жрец Диауса, молчаливый индус, был взволнован всем совершавшимся над головами. Дарий приказал ему внимательно следить за скифским небом. Напор туч, шедших с непреодолимой мощью, был неприятен царю.

Но особенную тревогу испытывал он в те дни, когда небо было чистым и только на самом горизонте стояла маленькая круглая точка. Она всегда возникала на одном месте, точно ее ставили для наблюдения за Дарием.

Однажды, после захода солнца, там, где она стояла, вспыхнул свет, как от зажженного костра. Край неба густо залило кровью.

— Если бы зажечь Вавилон, — говорили люди, — то и тогда зарево было бы меньше.

Индусы шопотом передавали, что горят жилища богов. Ненавидевшие Дария и его поход стали сеять смуту, запугивать трусливых, уверять, будто на войско надвигается кара, ниспосланная за дерзкое намерение царя достигнуть края вселенной.

Когда зарево разросло до ужасающих размеров, показался кусок раскаленного железа. Он принял форму диска, медленно выталкиваемого снизу. Громадный, кровью налитый шар отделился от земли и поднялся в воздух. Тогда в наступившей тишине раздалось пение, сопровождаемое звуками систра и барабана.

— Яуху! Яуху! — кричали египтяне. Индусы тоже узнали Сомму. Все, поклонявшиеся луне, славили ее восход.

Когда песнопения раздались на множестве языков, Дарий приказал запретить молебствия. Вестники поскакали по всему лагерю и от них узнали, что эта луна не та, которая восходит в Персиполе, светит в Саисе и озаряет Сарды, а другая, скифская луна, враждебная царю и его народам.

II

Молодой скиф шел, прикованный длинной цепью к колеснице. На ночь ее ставили

подле звездного шатра Атоссы и царица, ворочаясь на бессонном ложе, слышала лязг оков своего пленника, ощущала его присутствие, как близость льва или леопарда. Подходить к нему боялись. Он пинком ноги чуть не убил карлика, приблизившемуся воину выдрал бороду и свернул лицо на сторону. Не притрагивался к пище и, когда ее ставили поблизости, отбрасывал прочь. Ждали, что умрет с голоду.

Атосса пригрозила прогнать Эобаза, если со скифом произойдет недоброе.

— Лучше бы тебе, великая царица, дать мне на воспитание свирепую змею, чем это порождение Аримана. Скоро раб твой совсем лишится рассудка через это чудовище, — вопил Эобаз, простершись у ее ног.

Но однажды скиф сломал клетку с фазанами и, схватив птицу, пожрал ее, разорвав на части. Когда об этом сказали Эобазу, он велел ставить клетку с дичью возле пленника. Потом, вместо нее, явилась телега со снедью, плотно укрытая и завязанная ремнями. Выбрав минуту, скиф разрывал ремни, оттягивал тяжелые воловь кожи и похищал с воза куски вяленого мяса.

Железное кольцо натерло ему шею до крови. Атосса велела снять цепь и приставила к пленнику пятерых воинов. Но скиф не пытался бежать, он также покорно шагал за колесницей, как будто продолжал оставаться прикованным к ней.

Так шли дни за днями. Персы углублялись в степь.

Сначала тянулась неровная местность, чувствовалась близость Понта по долетевшим струям соленого ветра и белым чайкам. Потом пошла плоская необозримая гладь. Открывалась подлинная Скифия с дремотным колыханием трав, жужжанием шмелей, криками коростеля, стадами зубров, сайгаков и кабанов, с тучными дрофами и с серебряными трубами лебедей в речных заводях. В степях стояла знойная весна: зацвел ковыль, жеребились дикие кобылицы и, предводительствуемые жожаками, повели жеребят на заветные пастбища. Иногда, совсем близко, из выкокой травы поднималась задорная морда степного коня.

Атосса шла в самой гуще пешего войска, в клубах пыли, в потных испарениях. Большую часть пути сидела в закрытых носилках, пропитанных благовониями. Но она хотела видеть степь и потребовала, чтобы ей позволили идти в передовой линии. К удивлению Эобаза, представшего перед царем с этой просьбой, Дарий не стал противиться. При имени Атоссы он испытывал теперь глубокую горечь и редко посещал ее. Непроницаемое лицо, взгляд, полный затаенных чуждых мыслей — вот, что осталось от прежней царицы — его вдохновительницы. Дарий рассказывал ей, как скифы день и ночь бегут перед ним, не смея оглянуться и посмотреть на стальную поросль мечей и копий, заменивших траву в их степях, как он настигнет их у Гипаниса или у Борис-фена, истребит воинов и поведет закованных жен и детей в рабство. Он не остановится после этого, но пойдет в загадочные земли Гелонов, одноглазых Аримаспов, дойдет до самых грифонов, охраняющих золото, и посетит земли счастливых гипербореев. Потом он достигнет края земли.

Атосса слабо улыбалась. Царь оскорблялся, сердился и уходил недовольный. Всю нежность он стал изливать на Сандану — черную кобылицу с белым лучем во лбу. В ней не было ничего от простых коней, подверженных рабскому уделу напрягать мышцы и уставать. Она не храпела при самой бешеной скачке, легкое дыхание едва улавливалось ухом, а на ровном точеном теле не выдавался ни один мускул. Самые сильные ее движения были легки, как полет чайки.

Странное чувство испытывал царь, слыша восторженное ржание и встречаясь с полным обожания взглядом. Трепет ее огня заглушал у него тревогу, вызванную непонятным недугом Атоссы.

Когда ему передали просьбу царицы, он не выразил ни удивления, ни гнева. Велел сделать, как она хочет.

Атосса знала все наслаждения, доступные людям царского рождения, — роскошь яств и одежд, убранство чертогов, но никогда не знала радости стоять по пояс в траве, чувствовать себя вросшей в мягкую землю и колыхаться, как эти цветы, полные света и воздуха. Когда ее двор очутился впереди войска, перед шелестящим зеленым океаном, она сошла с носилок и весь день шла через травяные заросли, осыпаемая пылью, обвеянная вином и медом. Проходила через большие пышные цветы, заткавшие окрестность ярким ковром. Среди этих евпатридов степи скромным демосом белели наполненные солнцем крокусы, распускались зонтики ромашек, звездами светились фиалки. Но музыку запахов создавали не они, то были совсем незаметные цветики, притаившиеся в гуще зелени. Особенную струю испускала маленькая травка с синими огоньками, с резким горьковатым ароматом, до того бодрящим, что Атоссе казалось, будто до этих пор она не знала истинной свежести. Порой она ложилась в траву и смотрела, как качаются над нею стебли и венчики, беззаботные, не знающие о приближении лютой смерти под копытами полчищ Да-рия. Они шептали про радость бездумного бытия, про сумрак своих зарослей, где живут с золотым отливом жучки и кузнечики, ходят древними чудовищами дрофы, подстерегаемые волками, свистят суслики, вьют гнезда степные орлы и где всем телом ощущается материнская близость земли. И еще шептали о чем-то таком, от чего

Атосса замирала, бледнела и исполнялась сладкого ожидания.

Она заменила свои большие, как дворец, носилки легкими, убранными пучками чебреца и юмшаня. Лежа в них, можно было доставать головки пионов и срывать ромашки. В полу раздвинутые занавески несло теплом, цветами, простором полей. Однажды носилки шли медленно, обгоняемые то колесницами, везшими нарядные клетки с павлинами и обезьянами, то роскошно убранным верблюдом, колыхавшим на горбу ларцы с драгоценностями царицы. Показались воины, сопровождавшие пленника. У царицы захватило дух. Как в минуту смертельной опасности зароились пестрые мысли и ни одна не была приведена в исполнение. Ни отвернуть лица, ни задернуть занавеску не успела. Скиф показался.

Точно замороженная змеиным взглядом, глядела она в точеное, как из камня, лицо и снова, как в первый раз, не видела ничего, кроме бездонных глаз и улыбки — загадочной, но такой знакомой и тайно близкой. Чуть живая упала на подушки и когда пришла в себя, прошептала:

— Это он!

IV

В войске опять заговорили о тяжелом недуге царицы.

Она часто останавливала носилки, прекращала кругом движение и спрашивала рабынь и воинов — слышат ли они чтонибудь? Ей говорили про скрип колес, лязг оружия, конское ржанье, но она нетерпеливо повторяла: «Нет! Нет!» — и указывала в степные дали. Люди напрягали слух, но в степи стояло безмолвие. Тогда царица, гневная удалялась в носилки. В ушах у нее стоял гул пафосского храма.

Антилид объяснял всё борьбой огня и воды. Воды не встречали уже четвертый день. С тех пор, как перешли Истр, она сделалась главной заботой военачальников. Если первое время попадались болота и ручейки, то чем дальше, тем безводнее становилась степь. Воду стали запасать и везти на далекие расстояния. Каждый всадник ехал с двумя перекинутыми через седло бараньими мехами.

Аравийские кони, возросшие в пустыне, легко переносили жажду. Тоже и египетские. Но изнеженные сочными лугами и обильными водопоями кони Азии, Месопотамии, Ирана — хрипло дышали, колени их начинали дрожать.

Атосса не страдала от жажды; в ее обозе были большие глиняные амфоры с водой из Заба. Но Антилиду казалось, что эта вода утратила свои свойства и не способна

поддерживать равновесие с частицами огня в теле Атоссы. Только чистая свежая вода может восстановить правильное соотношение элементов.

В войске последние капли воды иссякли день тому назад. Кони и люди шли с пересохшими глотками. Делали глубокие заезды в стороны в поисках водопоя, но ничего, кроме бесконечного волнующегося ковыля, не встречали. Только к полудню заметили темное пятно, как тень от облака. Посланные вернулись с вестью: вода.

Антилид настоял, чтобы Атосса первая испила свежей влаги и искупалась в ней. Он отправил ее в сопровождении египтян к тому месту, где расстилалась огромная тень. То была лощина, поросшая ольхой, орешником, лозняком. Туда вела змеистая тропа, протоптанная кабанами и дикими лошадьми. Спустившись по ней, Атосса очутилась перед хрустальным озером, дышавшим такой свежестью, что ей захотелось разбить шатер и прожить здесь всю жизнь.

Лотос! Лотос!

Египтяне молитвенно устали на кувшинки. Сходство с нильскими зарослями придавали также висевшие на тростниках гнезда пичужек.

Атосса не стала купаться. Ее испугало мохнатое темное дно с извивающимися змеями корней и шевелящимися паучьими лапами. Она выпила чистой, как слеза, воды и следила за хороводом рыб. Между тем, войско толпилось в ожидании, когда царица кончит обряд. Ло-щину окружили, как вражескую крепость, и когда Атосса со свитой покинула ее, конница стала спускаться к воде, повалив кусты, обрубая ветки деревьев, опрокидывая самые деревья. Следом теснились верблюды и колесницы. Зелень оказалась растоптанной, вдавленной в землю. Над оголенной лощиной с криком закружились нырки, гоголи, водяные ласточки и какие-то птицы, похожие на ибисов. Лошади забирались в воду по брюхо и, напившись, тут же испражнялись. Берега превратились в жидкое месиво. Пили кони, люди, наполнялись водой тяжелые бурдюки. Каждую минуту прибывали новые войска и напирали на передних, не давая отойти от берега. Кто падал, сразу же втапывался в землю, от него оставалась кровавая слизь. Кони, сталкиваясь мордой к морде, кусались и кричали тем страшным конским криком, от которого кровь стыла в жилах. Когда подошли слоны, озеро оказалось окруженным непроницаемой толщей конницы. От них, как от большого корабля, в обе стороны пошли волны давки и замешательства.

Заметив опасность, приближенные царя с бранью накинулись на войско, стараясь отогнать от озера. Ариарамн зарубил несколько человек. Но конники, у которых от жажды звенело в ушах и прыгали красные языки перед глазами, не слышали угроз; они были во сне и не пробуждались, когда ощущали под копытами своего коня человечью или конскую тушу.

Тогда Ариарамн стал собирать тех, что успели напиться и выбраться из давки. Одежда на них висела клочьями, на лицах — кровь и следы ударов. Из них спешили создать заслон от пехоты. Едва державшаяся на ногах, она подходила густыми массами. Ее заставили расположиться на ночлег. Но с рассветом люди узнали, что от них загораживают воду. Они потрясли степь криком и двинулись на всадников. Испуганные сатрапы старались теперь отвлечь царя от того, что происходило в лощине. Царя веселили разговорами и никого не допускали к нему извне. На вопрос Дария о причине шума, Ариарамн спокойно ответил:

— Нашли озеро и запасаются водой.

Сам он знал, что пешее войско оружием проложило путь к берегу и теперь там царствует хаос.

Весь день и всю ночь над степью стоял шум, как в береговых пещерах во время прибоя.

Утром напор войск усилился. Приближались обозы. Ариарамн спешно отправлял напившихся и напоивших коней. Он уговорил Дария двинуться в путь и старался отправить следом Атоссу со своим двором. Но царица не пожелала. В закрытых носилках, бледная, с преображенным лицом она слушала гул, несшийся из лощины, и, когда он на третий день затих, захотела отправиться к озеру. Пошла, не взирая на мольбы Эобазы, упавшего перед нею на колени. Когда подошли совсем близко, рабыни, сопровождавшие ее, повалились на землю, закрыв лица плащами. Лощина глянула пастью гноящейся раны, усеянная тысячами

растоптанных людей и конских туш. На липком дне выпитого озера, где трупы громоздились горами, стояла лужа. Обозные ослы и волы допивали смесь из грязи, крови и навозной жижи.

V

Переходя Истр, персы рассчитывали встретить несметные полчища скифов. Но шли дни, войско углублялось в степь на сотни фарсангов, а врага не было. Васильки, фиалки, цикории задумчиво кивали головками, факелами пылал чертополох, синими звездочками мерцал пырей, пахли заросли мяты и змеиного лука. Кругом стояло такое цветенье и щебетанье, что воины начали забывать о битвах и о пролитии крови.

Дарий мрачнел и каждый раз спрашивал, когда же будут настигнуты скифы? «Я пришел сражаться, а не гулять по степям». Сатрапы и караносы шли хмурые, с озабоченными лицами, стараясь реже попадаться ему на глаза. Кто-то посоветовал позвать Агелая. О горбатом греке, приведенном к царю Гистием, вельможи успели забыть и теперь снова испытали раздражение при виде сухонькой фигуры уроды. Гнев их усилился, когда грек на поставленный вопрос ответил:

— Скифов вы увидите не скоро, но стрелы их узнаете раньше.

На другой же день стало известно, что в глубоком тылу, в двух днях пути от передового отряда, в сумерки убито много пеших воинов неизвестным врагом. Потом пришло известие о нападении на аллародов. Они оказались наполовину истребленными, а другая половина бежала в степь и рассеялась. Враг пропал прежде, чем шедшие впереди мардии успели придти на помощь аллародам.

Стали опасаться за обоз. Он совсем отстал от войска. Дощатые колеса повозок тонули в рыхлом песке. Повозка, которую раньше тянула пара, — теперь требовала четырех или шести волов. Повозки разделили на две части и волов, всем скопом, заставляли везти сначала одну их половину, а потом выпрягали и возвращались за другой.

Скоту не стало хватать корма. Трава по обе стороны пути вытаптывалась шедшей впереди конницей и, чтобы накормить волов, надо было отгонять их далеко от дороги. Агелай высказал мысль, что если враг до сих пор не уничтожил обоза, то только потому, что принимал его, благодаря множеству мулов и верблюдов, шедших в клубах пыли, за большое конное войско, на которое не решался нападать.

Когда царь созвал приближенных на совет, Ариа-рамн в пространной речи доказал необходимость остановить движение, дабы дать время обозу подойти. Он считал нужным поставить его под охрану пеших и конных войск и впредь идти медленнее.

Его сокрушил своим красноречием Фариасп.

— Не думаешь ли, Ариарамн, что нашей главной заботой в этой войне будет охрана мешков с сырыми и сухими финиками? Или скорость похода мы поставим в зависимость от скорости вьючного скота? Нет, трижды мудр царь, приказавший неустанно стремиться вперед, к сердцу Скифии, ошеломить врага быстротой, не дать стянуть всех сил. Разве это не значит — кончить войну раньше, чем возникнет необходимость питаться сушеным мясом? Да и понадобится ли оно, если у нас будет вдоволь свежего? Ведь собратья этого горбатого грека твердили о несметных скифских стадах. Не так ли, горбун?

— О, господин, — вздохнул Агелай, — если нам придется есть скифских баранов, то не раньше, чем съедим ремни на собственных щитах и сандалиях.

— Будь ты проклят, костлявый ворон, — зарычал Ариарамн. — Осмелся еще раз высказать свое змеиное пророчество и я сделаю так, что горб твой поднимется выше тмени!

Агелая прогнали, но слова его зародили у царя огонек тревоги. Как ни противен был вид горбатого грека, он, после долгих раздумий, велел тайно позвать его. И когда Агелай от него вышел, царь приказал остановить головные отряды, подтянуть войска и обоз. Он приказал также не двигаться больше колонной, но образовать широкий фронт.

— Ого! — воскликнул Фариасп. — Эта ионийская жаба прыгнула нам прямо на шею! Берегись, Ариарамн, покрыться бородавками и, подобно паршивому борову, быть

прогнанным с глаз царя!

VI

Чем дальше проникали в глубь Скифии, тем тревожнее впивались глазами в загадочный оком.

Страх поддерживался отсутствием врага. Никто не запомнил такого похода, когда бы двадцать дней шли по вражеской земле, не встречая *ни одного воина, ни одного поселения. Теперь персы шли широкой лавой, так, что с одного ее конца не видно было другого. Они сокрушали и вытапывали степь на пространстве многих фарсангов, оставляя за собой черную равнину, на которую страшно было оглянуться.

— Куда мы идем? — спрашивали люди. Полководцы молчали, делая вид, будто не слышат ропота. Сам Дарий каждый день всматривался в степную даль, стараясь заметить врага. Одна Атосса верила, что войско идет назначенным путем, что всё происходящее полно глубокого смысла. Верила потому, что ей вручена была одна из тайн Скифии.

Она никого не спрашивала про пленника, но свита по заведенному порядку рассказывала о нем каждый день. Он изменился. От прежней неукротимости остались порывистые движения да звуки, похожие на птичий крик. Пищи больше не отвергал, не набрасывался на окружающих и даже ложился по ночам на войлочное ложе возле шатра. Атосса давно поняла, что в самом темном углу души, за всеми ее мыслями притаился этот гранитный образ с непонятной улыбкой. Поняла, что самым сильным желанием было — видеть его. Несколько раз пыталась это сделать, но кровь в ушах начинала шуметь с таким подобием пафосской бездны, что каждый раз отступала. Понадобились три бессонные ночи и три дня, проведенные без пищи, вся жажда ужаса и откровений, чтобы она решилась выйти к нему бесстрастной сверкающей царицей.

Скиф стоял среди высоких цветов и всё время, пока подойдя вплотную, она рассматривала пряди волос, высокий лоб и сводящую с ума складку губ, оставался застывшим, как изваяние.

— Кто ты?

Он улыбался каменной, неподвижной улыбкой.

— Адонис! — прошептала она и потом повторила: — Адонис!

С того дня свита перестала для нее существовать. Карлик ходил печальный, заброшенный, а эфиоп похудел и стал еще страшнее. Он не спускал с царицы горящего взора и крался за нею издали, как тень.

Враг

I

В тот день, когда Дарий перешел Истр, по всей Скифии завывали собаки. Из полей вторили волки. Никто не помнил, чтобы волки среди лета собирались в стаи, но теперь их видели недалеко от ставки Скопасиса. Стало известно, что вся степь тронулась и идет к Борис-фену. Вокруг царского становища появились козы и антилопы, дикие лошади подходили к скифским табунам, а лисицы забирались в палатки. Совсем близко прошли кабаны с маленькими поросятами.

Скопасис послал к Иданфирсу гонца со словами:

— Дарий в степях.

Он послал гонцов с тем же к агафирсам, таврам, сарматам и к народам севера. Иданфирс заверял в дружбе, но сам не шел и войск не присылал. Из окрестных народов только сарматы, будины и гелоны выразили желание помочь. Остальные ответили:

— Нам кажется, что персы идут не против нас. Скопасис захотел узнать будущее.

Из пещер Таврии, из лесов Гилей пришли чародеи в масках, в загадочно расписанных одеждах, увешанные оловянными и бронзовыми подвесками. Скифы целыми днями простаивали возле наглухо закрытых палаток, где волхвовали колдуны, но прорицания их были туманны и двусмысленны. Один Сиберы не вникал в них и молчал, когда его спрашивали. Он переключался в степи со зверями, рассматривал следы, чуть видные тропы, протоптанные копытами, наблюдал полеты птиц, пчел и шмелей.

Однажды он сказал, что персы перешли Тирас — другую большую реку Скифии. Ему не поверили, но через день Скопасису пришла весть об этом. Дарий перешел ее по бревенчатым плотам, приготовленным жителями Тираса и Никониума, двух небольших колоний, стоявших близ устья реки. Гистией отправил к ним послание с угрозой разорить и сжечь, если не возведут моста для царского войска. Тирасяне выбрали место, где река пестрела островками и отмелями, и согнали туда множество бревен с верховьев. Они создали путь для колесниц и пешего войска, а конница и верблюды пошли вброд.

Скопасис узнал, что и Гипанис не будет препятствием для персов. Гистией запугал ольвийцев так же, как запугал тирасян и теперь они все свои корабли и лодки отправили вверх по Гипанису, чтобы содействовать переправе персидских полчищ.

Дарий на Гипанисе!

Когда это разнеслось по степям, колдуны стали сеять уныние среди скифов, предвещая несчастья. Напрасно Никодем ободрял людей, уверяя, будто дариево войско составлено из народов, ненавидящих персидского владыку и недовольных походом в степь, будто оно само ждет смелого натиска, чтобы обратиться в бегство. Напрасно высказывал подозрение, будто колдуны изрекают зловещие предсказания по тайному сговору с ага-фирсами, неврами и таврами. Народ оставался угрюмым.

Тогда пришел Сиберы и что-то сказал царю. Оба сели на коней скакали весь день и только к вечеру прибыли на место, поросшее белой, стелившейся по земле, повивелью.

— Знаешь ли, где мы?

Скопасис смотрел на горбившийся вдали курган, на большие камни, белевшие в сумерках, как черепа, и не понимал.

— Это место твоего рождения. Здесь, вывалившись из утробы, ты ударился головой об землю и заплакал. Сегодня надо также плакать и биться головой.

Они сошли с коней, расстелили войлоки и, когда Скопасис лег, Сиберы засыпал его охапками маков, жабрея и белоголовника.

Небо потухло. С разных сторон закурились туманы, слышалось мычание тура, всплески, хлопанье крыльев, далекие свисты, выкрики. Скопасису показалось, что он впервые слышит эти шумы и впервые вдыхает запах полей. Ему стало тепло, как в колыбели. Сквозь тонкий войлок чувствовал родившую и вскормившую его землю и прижимался к ней, как к матери, как к жене.

- Слышишь ли что-нибудь? — шопотом спросил Сиберы.

Скопасис различал глухие удары, будто конь бил копытом, бормотал ручей, а потом тяжелые вздохи, зародившиеся то ли в степных даях, то ли идущие из земных недр. Закрыв ухо рукой, он другим приник к земле и когда Сиберы вновь спросил, царь ничего не слышал он спал, замороженный ароматом трав и криками коростелей.

В полночь Сиберы разбудил его. Было темно так, что они друг друга не видели. Где-то в недостижимой дали готовилась гроза и раздавался стук повозок.

- Теперь ты узнаешь свою судьбу.

Сиберы залился страшным волчьим воем, от которого степь притихла и замерла. Прошло бесконечное мгновение. Слышно было, как бились сердца у обоих. Тогда где-то, на краю земли, завыл волк, потом другой и совсем близко раздался дружный вой большой стаи. Сиберы упал.

- Плачь, царь! Поклонись скифской земле! Она дарует тебе победу великую, небывалую...

- Победу? — чуть слышно прохрипел Скопасис.
- Она придет не скоро. Будет много трудов, много горя!..
Край неба вспыхнул и степь наполнилась ударом грома.

II

Скопасис велел схватить предсказателей и привязать к повозкам. Приказал также всем воинам отделиться от семейств, жить без палаток, спать на голой земле, положив седло под голову. Воины вышли в степь, а женщины и девушки седлали коней, вплетали в короткие гривы оловянные и бронзовые подвески, а потом, обняв конские шеи, со слезами причитали, прося коней хранить своих всадников. После этого они вывели их к мужьям и братьям.

В тот же день пришла весть, что враг надвигается.

Прискакавший с известием воин сам видел его. Это было на закате, когда солнце краем коснулось земли и степную даль заволокло паутиной из золота и пурпура. Тогда предстало шествие зверей, живших в блаженные времена. То, как горы, с торчащими к низу рогами, с головами, заканчивавшимися тонким хвостом, то, как змеи с высоко поднятыми головами. За ними — черепахи, драконы, ежи, упершиеся иглами в небо. Бесчисленное множество существ, принимавших диковинные очертания, прошло в золоте заката.

Чтобы видеть приближение персов, Никодем выехал далеко в степь. Навстречу неслись табуны коней, стада коз и кабанов. Всё пребывало в смятении, только полынь, как всегда, пахла свежо и бодро.

Вдали возникла золотая полоска, быстро увеличивавшаяся в размерах. Она потемнела и к полудню разрослась в тучу. Гребень ее высоко в небе продолжал золотиться, но по земле она стлалась чернее морской волны. Всё, что не успело уйти, бежало перед нею. Крупные дрофы, коростели проносились под самыми ногами лошадей, а у корней травы текли стада мышей и гадов. Под клубящейся волной обозначилась белая нить, в которой различили людей, ехавших на конях. Дарий надвигался грозовой тучей, наполняя степь шумом, подобным шуму прибоя.

И опять, как на Босфоре, Никодем испытал тягостное чувство бессилия и злобы.

«Долго ли тебе суждено давить меня видом своего могущества, подлый властитель?»

Вернувшись в стан, он сказал Скопасису:

— Завтра, царь, твое имя станет выше имен всех царей мира. Забудут Саргона и Кира, но имя Скопасиса, освободителя вселенной, не умрет в сердцах поколений. Я счастлив, что буду сражаться в первых рядах твоих войск за Скифию и за Элладу.

III

Войско Дария тоже почувствовало близость скифов. Встречали следы недавних стоянок, огнища, мелкие предметы, передаваемые из рук в руки и жадно рассматриваемые, как свидетельства чужого, загадочного мира. Иной раз верхушки трав оказывались собранными в пучки и завязанными узлами. Встречались группы по несколько узлов. Агелай усмотрел в них скифские письмена с обозначением направления и скорости движения персов. В одном месте видели совсем свежий помет скифских коней. Враг недалеко. Об этом возвестил прямой, как труба, столб дыма, поднявшийся вдали. Стали расти новые густые столбы. Они протянулись по горизонту колоннадой, поддерживающей небесный свод.

— Радуйтесь! — кричали войску предводители. — Там ваша победа и скорое возвращение домой! Быть может, сегодня настигнем и поразим врага!

Но тьма успела спуститься раньше.

В этот вечер заметили движущиеся огни. Вспыхнув искрами в потемневшей дали, они быстро разрослись до больших клубов пламени. Кто-то неудержимо гнал их на персидское полчище.

Воины взбирались на повозки, на кучи клады, на плечи друг другу, чтобы лучше

видеть. Стали вырисовываться очертания быков, мчавшихся во весь опор. Было ясно видно, что они запряжены попарно в повозки, полные огня.

Сумерки дрогнули от возгласов: в пламени заметили мотавшиеся человеческие фигуры, стоявшие во весь рост.

Палимые огнем быки неслись, как бешеные.

У двух повозок перегорели дышла и они остались факелами пылать в степи. Несколько быков грохнулось, не добежав до лагеря, остальные молниями врезались в толщу войск. Повозки пылали, как жертвенники и на каждой стоял столб с привязанным человеком. Иные успели обуглиться, другие еще жили и глядели на персов большими белыми глазами.

— Кто вы?

Они запрокидывали лица в потемневшее небо, глотали воздух и, свесив головы, умирали. На некоторых сохранились остатки расписанных одежд и масок.

IV

Утром возле царского шатра звонко запела гесорера, подхваченная разноголосым хором труб по всему стану. Войска знали, что сегодня битва, и выступали с молчаливой поспешностью. Взошедшее солнце било в глаза, заволакивало степь блестящей кисеей. Сквозь эту ткань, шедшей впереди коннице мерещились неясные очертания, сверкание мечей и шлемов. Но когда даль очистилась, ничего, кроме безграничной пустой равнины, не оказалось.

Все поняли, что в степях страшно отсутствие врага. Предводители торопили:

— Скифы близко!

На горизонте возникло черное пятно, разраставшееся по мере приближения.

— Скифы! Скифы! — закричали передовые разъезды.

Чтобы видеть вражескую рать, полководцы выехали вперед. Сам Дарий захотел измерить взглядом противника и был удивлен размерами его темного скопища. Ариарамн уже делал распоряжения к битве и приказал полкам перестраиваться на ходу. Его смущала только неподвижность врага. Усмотрев в этом опасный замысел, он посоветовал царю остановиться.

— Они хотят, чтобы мы как можно дольше шли и утомлялись, а потом напасть на нас усталых.

Но царь велел ускорить движение, опасаясь, как бы противник не пропал снова.

Между тем, гранитная неподвижность вражеского стана стала казаться загадочной. И вдруг поняли, что это не войско. Одним оно показалось полем, усеянным трупами, другим — зарослями тальника и полевой верболозы. Когда подошли, открылась громадная равнина, изрытая колесами телег, копытами коней и волов. Запахом свежего чернозема и соком загубленных трав несло оттуда.

Неприятель ушел. Но никто не осмелился сравнить царя с рыкающим львом, при приближении которого враги бегут, как робкие серны. Слово лести не в силах было сорваться с побледневших губ.

Дарий застыл, уставившись в черноту вспаханной степи и от его окаменевшего лица повеяло мертвенным холодом. Вопль нечеловеческой ярости заставил повалиться всю свиту на землю.

Увидев простертые тела, Дарий стал бешено топтать их копытами своей прекрасной кобылы. Сандана сладострастно прошлась по раболепным спинам и покорным затылкам. Царь обещал содрать кожу с предводителей, если они не настигнут неприятеля.

Тогда Аброкомаз с отборной конницей отделился от войска, чтобы налегке догнать скифов. Вначале он держался прямого пути, двигаясь вдоль взрытой телегами полосы, но, остановившись, на мгновение, заметил на другом краю степи движение и слабый, едва уловимый гомон. Всмотревшись, убедился, что это движется орда, и поскакал туда со всем войском.

Когда утомленные кони достигли желанной меты, они остановились перед серебристым морем ковыля, по которому ходили могучие волны и только парусов вдали нехватало для полного сходства с Понтом.

— Господин, — сказали Аброкомазу, — ты ошибся: скифы дальше, чем ты думал, но они не так далеко, чтобы уйти от твоей руки. Вслушайся в этот шум.

Теперь явственно слышны были голоса большого скопища, лай собак, мычание волов.

Вперед!

И снова поскакали на шум, в надежде открыть врага за высокой травой или в невидимом овраге. Ковыль грозно устремился навстречу, цепляясь шелковистыми перьями за стремяна, за конскую сбрую, за копыта тяжеловесных азиатских скакунов.

Бешеная езда опьянила Аброкомаза, он не знал, в каком направлении скачет и как далеко отъехал от царского войска. Остановившись на минуту, снова скакал, потому что совсем близко слышал шум скифского полчища.

К вечеру кони тяжело храпели и роняли шапки пены с удил. Солнце село в безбрежный ковыль и в наступившей предсумеречной тишине персы почувствовали, что скачут не туда. Скифы были близко, но их крики раздавались теперь слева, с той стороны, где догорали желтые облака. Остановившись для роздыха, Аброкомаз велел связать из пучков копий высокую мачту, на вершину которой взобрался молодой ликиец.

Заря еще пенилась и ночь не спустилась, но уже дальше, чем на три полета стрелы, нельзя было видеть. Синеватая дымка соединила небо с землей. Скифы кричали, как стадо галок. Различались отдельные голоса и детский плач.

Далеко ли они?

Ликийцу виделись какие-то предметы, сгустки мглы.

Тогда Аброкомаз, сойдя с коня, зашел далеко в травы, чтобы лучше слышать, и убедившись, что это не обман, что шум слышен ясно, — решил засветло достигнуть скифской стоянки.

Кони мчались из последних сил. Скакали до тех пор, пока не показалось, что цель близка. Прислушались. Слабый, едва различимый шум раздавался на краю степи. Он удалялся с быстротой птичьего полета и скоро замер. Перед персами стояла высокая черная трава, и когда ветерок качнул ее мертвое море, она зашумела глухим подземным шумом.

— Спаси нас Всевышний от Аримана! — закричал в ужасе Аброкомаз.

Всю ночь его люди спали бредовым сном, а наутро он призвал их умереть или настигнуть врага.

Степь попрежнему колдовала и насылала чары. Простор увлекал, в ушах свистело от быстрой езды. Бешеным наскоком Аброкомаз хотел сорвать синюю завесу горизонта, скрывавшую неуловимого противника. Она зашевелилась. Обозначилось что-то, похожее на тучу саранчи, и персы возгласами приветствовали появление врага.

Воспаленным взором Аброкомаз следил, как, отделившись от далекой синевы, противник смолой растекался по равнине. Волны травы несли о нем доносы и вести. Видно было сверкавшее железо, развевавшиеся хвосты и гривы.

Оба войска с ужасающей скоростью неслись друг другу навстречу.

Колокольчики и голубые лилии били в набат, одуванчик рассылал по равнине известия о предстоящей битве, ожиданием скорой крови зарделись маки. Но мстители степей, маленькие цветки, притаившиеся в траве, вливались в грудь губительным ядом курений. Они сулили упоительное сражение, как награду за весь позор бесплодного, бессмысленного похода.

Слышен был топот вражеского войска.

Потрясая мечом, Аброкомаз нечеловеческим голосом подбодрял наездников. Взглянув на их иступленные лица и морды коней, летевших во весь опор, он порадовался силе удара, который собирался обрушить на врага.

Прямо на него скакал черный жеребец. Длинное копье угрожающе торчало из-за его правого глаза. Аброкомаз приготовился увернуться от копья и нанести удар своим кривым

мечом. Взор его скользнул по необозримой линии мчавшегося войска. Это было за мгновение до ошибки. Он закричал от ужаса и хотел остановить столкновение, но две гигантских волны схлестнулись с ревом и грохотом.

Перед ним стоял воин, силившийся что-то сказать, но не могший удержать прыгавшую челюсть. Стонали раненые. Лошади волочили по полю убитых, застрявших ногою в стремени. Он посмотрел на убегавший извивами вал из трупов людей и коней и чувство страшной вины сдавило грудь.

— Скажите царю царей, что Аброкомаз напал на его войско и Аброкомаз наказан.

Потом он лежал, уткнувшись лицом в землю, а из спины торчало острое меча.

V

Но счастливее был Фарнасп.

Когда горбатого грека, трясшегося на быстроходной колеснице, доставили к его войску, он увидел перед широким полукругом персидских конников скифскую орду. Фарнасп являл образ нечеловеческой гордыни. Надменно поднятое лицо, опущенные веки, ни на кого не глядящие глаза, не глядящие даже на скифов, что держали перед ним на концах копий свои острые шапочки в знак мира.

Агелаю приказали узнать, что им надо.

Скифы говорили много и с великим криком. Поднимали руки к небу, били себя в грудь, а некоторые раздирали одежды и обнажали грудь. Когда они кончили, Агелай обратился к Фарнаспу:

— Радуйся, вождь! Силы царя царей умножились присоединением нового войска. Царь Скунка со своим народом хочет видеть в нем своего повелителя. Он клянется, что не пройдет пяти дней, как Скопасис, живой или мертвый, будет доставлен царю царей.

— Ты, грек, позволяешь себе больше, чем от тебя требуют, — процедил Фарнасп. — Твое дело передать слова этих презренных, а радоваться их приходу — не твое дело. У царя царей и своего войска достаточно. Скажи этому конскому помету, что я до тех пор не поверю их словам, пока сам их ничтожный царек не явится ко мне.

Посланные уехали и вскоре от скифской орды к Фор-наспу направилась большая свита. В бобровой мантии, с золотым куполом на голове и с золотой чашей у пояса ехал Скунка.

— Ты должен пасть к ногам царя царей и объявить себя его подданным, — заявил Фарнасп. — А твои люди пусть докажут миролюбие — едят и пьют с нашими.

Скунка на всё отвечал согласием.

Он радовался при виде множества персов, двинувшихся с ним к царскому стану, усматривая в этом почет, оказанный ему сатрапом. Но не доходя царской ставки, его и его приближенных стащили с коней и связали, а тех, что пытались сопротивляться, закололи копьями.

Дарий уже ждал. От накопившейся злобы у него задрожали пальцы, когда гонец принес счастливую весть. Он хотел достойно насладиться первым торжеством над неуловимым противником.

Трон его поставили на высокий помост, покрытый роскошной материей, и когда царь сел, толпа эфиопов подняла помост на плечи. Связанного Скунку бросили перед ним на землю. Он пытался что-то говорить, но Фарнасп ударил его ногой.

— Как смеешь ты, поганый репейник, говорить перед царем, прежде чем тебе это позволят?

Дарий долго рассматривал жертву, а потом спросил — о чем говорил Скунка? Фарнасп этого не знал, но думал, что просил о сохранении жизни. Тогда по знаку царя принесли раскаленное железо и, как только Скунка, под натиском эфиопов, перестал метаться и делать движения, погрузили ему железо в глаза.

У Дария просветлело лицо от звериного вопля, который испустил скиф, и от дымящихся впадин глаз. А потом на боевой колеснице он двинулся к месту скифского

пленения.

Скифы уже лежали в ряд связанные, а женщины, старики, дети — разбиты на кучи и плотно обтянуты веревками.

Дарий велел разогнать колесницу и промчаться по лежащим. Но когда конские копыта готовы были опуститься на тела кочевников, царь, наклонившись к вознице, сильным движением натянул вожжи. Он медленно проехал вдоль линии поверженных врагов и остался доволен их численностью.

— Они должны возвестить обо мне степному народу. Пусть степь содрогнется и падет к моим ногам! Пусть узнают мою мощь и боятся моего гнева:.

Зажгли костры и стали греть железо.

До вечера раздавались нечеловеческие вопли и стоны, а утром в степь потянулась длинная вереница скифов. Впереди в золотом шлеме, с золотой чашей у пояса — закованный в железо Скунка, уставившийся в родные просторы окровавленными провалами глаз. За ним, держась друг за друга, его ослепленные воины. На каждую сотню Дарий оставил по одному одноглазому, которые могли бы вести остальных.

VI

Звон цепей ослепленного царя разнесся по всей Скифии. Раньше всех его услышали земледельческие скифы, жившие между Гипанисом и Борисфеном. Дойдя до первого их холма с белевшими на вершине стенами из грубо сложенных камней, он остановился и запел, как нищий, просящий милостыню. Пение его перешло в плач, в надрывный крик. Он рассказал, как владел Лисьими Травами и пас там свои стада и свой народ, как из ненависти к Скопасису перешел на сторону врагов и встретил в лице Дария — само зло.

Его слепые подданные стонали и оплакивали гибель скифской земли.

— Бегите к Скопасису! Бегите к Иданфирсу! Бегите на край света!

Земледельцы ненавидели Скопасиса, взимавшего с них непомерную дань и совершавшего частые наезды на их поля. Когда стало известно о нашествии персов, они этому обрадовались и на призыв Скопасиса — придти на помощь, чтобы вместе встретить врага, — отвечали уклончиво и тянули переговоры.

Потом последовал смелый ответ агафирсов, невров и тавров:

— Нам кажется, что персы идут не против нас.

С тех пор в необъятной Скифии все, ненавидевшие Скопасиса, затаили надежду на его скорую гибель. Теперь же пахари почувствовали себя так, будто проиграли свою жизнь в кости. Шествие Скунки наполняло души холодом.

— Бегите! Бегите!

Люди смотрели со стен на извивы речки, огибавшей их холм и ограждавшей его с двух сторон, на поросшее осокой болото, защищавшее его с третьей стороны, на свои колосившиеся нивы и пастбища, огражденные глиняными посудинами с прахом предков, и поняли, что им некуда бежать. Они родились и выросли на небольшой площадке холма, где жили со своим скотом в прижимавшихся друг к другу лачугах, наполовину врытых в землю.

Но их водяные глаза широко раскрылись, когда всю степь со стороны заката облегла черная туча дариева воинства. Оно приближалось с никогда неслыханным гулом, и когда достигло холма, земледельцы увидели себя на крошечном островке среди шумного моря. Проплывали возы, двигались леса копий, темными глыбами ползла пехота.

В тенистом дне речки завязла телега и возле нее собралась кричащая толпа. В другом месте пала лошадь, запрокинув в небо вздрагивавшие копыта, а под самым холмом положили больного и отпаивали водой. Персы поглощены были тяготами похода. Казалось, всё пройдет мимо.

Но по тропинке, с той единственной стороны холма, которая оставалась незащищенной, уже поднимались люди, сверкая оружием.

К ним вышел белый старец, неся на вытянутых руках круглый хлеб. Передний воин

остановился и с недоумением взял хлеб. Потом он ударил им старца по голове, схватив за волосы, швырнул вниз, где кто-то мимоходом приколот его копьем.

Со стен слышались крики ужаса и полетели камни.

Когда подъехал Фарнасп, на холме дымились развалины. Последнего обитателя, оставшегося в живых, привели к нему. Перс велел наложить на него царское клеймо, потом выколол глаз и пустить в степь, дабы возвестил о грозе и мощи царя царей.

VII

Громадной глыбой, брошенной рукой великана, катилась по степи скифская лавина. Скопасис шел со всеми подвластными племенами, с табунами и стадами. Он старался раскинуть свои орды так, чтобы вытоптать траву на возможно большем пространстве. Он вел врага в земли скифов-пахарей и сам всё сметал на пути — засыпал водные источники, уничтожал посевы, угонял скот, забирал людей.

Пахари высылали ему навстречу хлеб и мед, упрасывая не разорять нив и угодий.

— Вы хотите сберечь это для перса?! — кричал Скопасис. — Вы забыли, что я еще ваш царь?!

Там, где он проходил, чернела широкая полоса в сотни стадий, лишенная всего живого.

С потухшим взором, с осунувшимся лицом ехал Ни-кодем среди галдящей толпы. Он чувствовал себя, как в тот день, когда стоял среди поля, привязанный к столбу. Жестокие сомнения мучили его снова. Он не мог забыть той ночи, когда его, заснувшего с мечтой о предстоящей битве, разбудили в глухую темень и как он восхищен был мыслью о ночном нападении. Помнил свое удивление, слыша пронзительный скрип колес и плач детей. А когда рассвело, увидел войлочные покрытия повозок, белые, как лен, головы, торчавшие оттуда, и печальные водяные глаза. Увидел хмурые лица воинов.

Пробравшись сквозь хаос телег и всадников к тому месту, где ехал царь, он поражен был его изменившимся лицом — злым, настороженным, с недоверчивым взглядом.

— Ужели, царь, мы идем не на битву, а бежим от врага?

— Кто смеет так говорить?! — заревел Скопасис. Он выхватил меч и поднес к самому лицу Никодема. — Видишь это железо? Так знай, что медный шлем не защитит от него твоей головы, если ты окажешься не в состоянии понять, что я не отступаю, а кочую по своей земле! Я презираю твоего царя царей!.. Мои табуны съели кругом всю траву... Я должен переходить на другое место...

Он не стал пускать к себе Никодема и тот двигался в зловонной толпе свидетелем бегства и бессмысленного разорения скифской земли. Черные крылья тоски и отчаяния виделись ему над отступавшей ордой. Люди чувствовали, что гибнут, но хотели успеть сделать как можно больше зла.

Неужели скифы не те, за кого он их принимал? Быть может, этот народ храбр только в грабеже и разбоях?

Он думал о лихорадочном, подозрительном взгляде царя, о постоянно возраставшей тревоге в лице, выдававшей больную, до конца смятенную душу. Скопасис постоянно держал при себе ближайших друзей, превратившихся в его телохранителей. Были случаи, когда простые воины, подъехав, по старому обычаю, слишком близко к нему, падали от рук Кэны и Нихарса. Он завел небывалый в Скифии порядок пробы пищи: не съедал ни одного куса, от которого перед тем не отведал один из его приближенных. Никогда не снимал кольчуги.

А потом всё войско потрясено было гибелью трех предводителей. Их ночью позвали к царю и там убили. Народу объявили, что они замыслили измену и составили заговор на жизнь царя. Произвели избиения среди их родичей и друзей.

Особенное удовольствие доставляли Скопасису вести о том, что бежавшие к Дарию пахари встречали там смерть и оковы. Истинным торжеством было для него ослепление Скунки. Он хохотал, хлопал себя по бедрам и приседал к земле.

Только один раз Никодем, подъехавший к нему совсем близко, увидел Скопасиса усталого, слабого, опустившего голову на грудь. Заметив Никодема, он глухо пробормотал:

— Я делаю так, как надо, иноземец. Не смотри на меня вопрошающе и не приставай со своими советами.

На другой день опять убили несколько человек, подозреваемых в измене. Оказалось, что эти люди хотели перейти к Иданфирсу. Имя Иданфирса стало произноситься с опаской. Знали, что он стоит на Черных Водах и с любовью принимает всех, кто хочет с ним вместе защищать скифскую землю. Про Скопасиса же говорили, что ему не будет счастья в этой войне, потому что он не совершил моления над священным золотом.

Через несколько дней много воинов тайно покинули Скопасиса.

Великая ночь

I

Однажды к царице спешно позвали Агелая. Скиф, дотоле молчаливый, стоял, обернувшись на восток и закинув лицо, страстно говорил о чем-то. Никто его не видел таким. Греку приказали доносить о каждом его слове.

Прислушиваясь к степняку, Агелай узнал, что он приветствует приближение Борисфена и царских могил, там находящихся. Он перестал смотреть на окружающих, не замечал Агелая, не замечал неотступно следовавшего за ним эфиопа, пожиравшего его взглядом, полным звериной ненависти.

Царице, наконец, сообщили, что варвар бредит наступлением Великой Ночи. Она побледнела и поклялась убить Агелая, если тот не узнает, что такое Великая Ночь?

Агелай узнал. Это ночь истинной жизни, давнишних желаний сердца. В эту ночь земля распаляется и выпускает все скрытые в ней силы. Травы переполняются соками и достигают предела цветения. Скифы чтут в эту ночь Великую Матерь, дарующую бесплодным женам благодать зачатия, склоняющую жеребца к кобыле и отверзающую глухие, черствые сердца.

Атосса долго не могла усмирить поднявшейся душевной бури. От Агелая узнала, что скифская Великая Матерь — та же эллинская Афродита — пришла к скифам с Босфора Киммерийского, где ее poznали благодаря теосцам. Полное ее имя — Афродита Урания, владычица Апатура. Но говорят, что она лжива, о чем свидетельствует самое имя ее — Апатура.

Между тем, персы подошли к Борисфену. Он издали обозначился редкими кущами тополей, шедших по равнине, как великаны, друг за другом.

Дарий захотел явиться над священной скифской рекой в царском венце. Его опять, сидящего на троне, несла толпа эфиопов.

Борисфен протекал под высоким обрывом, в кружеве склонившихся ветвей и от него исходило напряжение, как от туго натянутого лука. В широкой глади, под которой угадывалась глубина и стремительность, Дарий почувствовал больше мощи, чем в шумных горных реках. Изначальную силу, спокойствие узрел он, глядя с высоты на это обилие красивой воды и на переполненность ею берегов. А за рекой, насколько хватал глаз — необъятная ширь без единого бугра и возвышения. — более ровная, чем та, что осталась позади. Оттуда веяло могучим простором, пропастью, которая притягивает. Пьяный ветер налетал от гипербореев, от исседонов, гелонов, от черных меланхленов. Дарий до того заморожен был его пением, что забыл объявить Борисфен своим пленником и заключить в оковы, как хотел перед тем.

Войско поникло. Оно шло сюда с тайной надеждой на окончание похода. Вместо этого — новые просторы и новый путь без конца.

Одна Атосса была, как в тумане, и верила, что ей самой богиней навеян сон из голубой реки, синего неба и гнущихся под ветром до самой земли тополей.

Ариарамн приказал лидийцам первыми войти в реку. Нарядные всадники весело, как в праздник купания коней, устремились в воду. Задор их был так велик, что казалось, они переплывут Борисфен. Но ближе к середине кони стали погружаться глубже, так что над водой торчали только уши да ноздри. Достигнув самого стремительного места, головы коней — одна за другой — начали скрываться. Несколько сот конников унесло течением, остальные повернули назад, громко ропща на Ариарамна.

Царь разгневался. Он потребовал в тот же день найти способ переправы, угрожая перевести войско по мосту из трупов неумелых военачальников. Тогда Ариарамн послал за Агелаям.

— Настало время, грек, проверить — не посмеялся ли над царем твой господин, предложив взять тебя в поход? Если ты, действительно, так мудр, как он говорил, то докажешь это сегодня, придумав, как переправить войско через Борисфен.

И был удивлен согласием Агелая.

Грек велел собрать все меха из-под вина, фиников, из-под сыра и, призвав ассирийцев, халдеян, всех обитателей Тигра и Ефрата, приказал надуть меха. Потом он заставил сделать плоты — такие, на которых они плавали по родным рекам. Люди связали из шестов огромные рамы, заполнив их плотными рядами надутых мехов. Сделали настил из камышей, лозы и прибережной осоки. Плоты вышли легкие, хорошо держались на воде и, несмотря на толщину и громоздкость, быстро ходили. На них стали переправлять колесницы, грузы, а также коней, ослов и верблюдов. Тем временем тысячи воинов, по-женски усевшись на земле, работали бронзовыми и костяными иглами. Другие варили смолу. Сшили толстую, крепкую холстину в двадцать локтей ширины. Когда ее растянули в длину — стоявшие на одном конце с трудом могли расслышать, что им кричали с другого. Края обшили канатом. Потом котлы со смолой опрокинули на белую холщевую дорогу. Пятсот человек поднесли ее к Борисфену и, когда она протянулась поперек реки, от одного берега до другого, концы ее привязали к толстым бревнам, стоймя врытым в землю, наподобие гигантских ворот. Насыпали земли, навалили камней. Волы, с копытами, обмотанными тряпьем, медленно поволокли повозки через Борисфен по просмоленной дороге. Всю конницу двинули к узкому месту, найденному вверх по реке, где большую часть расстояния можно было идти по дну и лишь небольшой отрезок пути плыть.

После этого приступили к самому опасному — к перевозке слонов. Плоты покрыли слоем земли и соединили с берегом широкими земляными насыпями. Слоны всходили спокойно, считая плоты продолжением суши. Но когда оторвались от берега и поплыли, чудовища пришли в страшное волнение и, подняв хоботы, затрубили. Толпа на берегу затаила дыхание. Плоты сильно колебались. Однако, разум, присущий слонам, оказался сильнее страха и беспокойные движения их не перешли границ осторожности. Только один упал в воду, но это было на неглубоком месте, у берега, и зверь, трубя и пуская фонтаны, благополучно выбрался на сушу.

Агелай переправил слонов, чтобы употребить для работы. На них надели сбрую и заставили с помощью длинных канатов перетаскивать через Борисфен тяжело нагруженные плоты.

Наибольшую заботу доставляло пешее войско. Всех, умевших плавать, Агелай заставил перебираться на тот берег без посторонней помощи. Для отдыха им в пути он укрепил на каменных якорях бревна, связки камыша, надутые бараньи меха. Добравшись до них и ухватившись руками, пловец мог перевести дух и плыть дальше. Тем, кто носил штаны, приказано было смочить их, плотно завязать концы и с размаху опустить на воду так, чтобы они надулись, как пузыри. Даже не умевший плавать, мог перебраться на них через реку. Остальных пришлось перетаскивать канатами. Раздевшись и привязав одежду и оружие на спину, воины ухватывались за конец каната, колесница на другой стороне трогалась и

горячие кони, уносясь в степь, вытаскивали на свой берег, как гигантскую гроздь винограда, кучу полуживых людей.

Созерцая переправу, Дарий раздумывал о мудрости Агелая. От Аримана она или от всеблагого и милостивого Агура-Мазды? Он с удивлением посматривал на тщедушную фигуру грека, не находя в себе того презрения, которое испытывал прежде.

Река, сколько хватал глаз, чернела народом, плотами, конскими мордами, лодками из кожи, связками осоки. Рев ослов и верблюдов, слова команды, вопли погибающих наполняли Борисфен шумом великого события. Река вздулась от множества погруженных тел.

Десять тысяч воинов, тысяча коней, сотни ослов и верблюдов погибли при переправе.

III

Подлинное царство степей, по словам Агелая, открывалось только за Борисфеном. Земли здесь обширнее, ровнее, богаче травами и зверями. Стебли достигали толщины пальца и скрывали всадника с конем, а обилие цветов, их пышность — наводило на мысль о колдовстве. Те, что благоухали днем, закрывали к вечеру свои кадила, но на смену им открывали чашечки другие цветы, распространяя еще более тонкий аромат, проникавший в самое сердце. Дух, надломленный за день юшанем, фиалками, левкоями и гвоздикой, порабощался к вечеру укропом, резедой, матиолой и белым табаком. В грудях, остывших и зачерствевших, пробуждались воспоминания о лучших днях, об ушедшей любви. Сжившиеся с мыслью о смерти начинали мечтать о счастье. Всё чаще по вечерам в персидском стане стала раздаваться музыка. Бряцали египетские тебуны и систры, греческие тригоны, пели авлосы, мамы и индийские алгоа, а под стонущие звуки неит-амбуна и халдейского уагба люди хором выплакивали песни Ефрата и далекого Элама. В такие часы останавливалось всякое движение и даже животные переставали жевать.

И стало казаться персам, что кто-то подслушивает их в густой траве. Увидели однажды растрепанные желтоволосые головы с бездонными глазами цвета озерной воды, восхищенно глядевшими на персов.

— Мы погибли! — говорили воины. — Нас завели в замороженное царство.

Звери и птицы теперь не бежали от Дария. Их видели в изобилии. Особенно бесстрашными были волки. Они чаще всего подходили к верблюдам, когда те паслись во время отдыха. Привлекал соблазн перекусить длинную шею верблюжьей. Но шеи были заносчиво подняты. Тогда скифский зверь ложился на землю и игриво катался по траве, пока не вызывал жгучего любопытства горбатого животного. Дойдя до крайней степени удивления, верблюд протягивал змеиную голову к катающемуся клубку и погибал.

Ночью приходили дикие кони и уводили с собой лошадей Дария.

«Еще немного и люди начнут уходить», — подумал царь. Собственная его неукротимость постепенно остывала. Медвяное марево расслабляло, затуманивало голову. Всё чаще ловил себя на суетных мыслях, не относившихся к войне, впадал в обольстительные грезы — видел странные существа, белые города, храмы, пышные гробницы. Боялся, что воинский дух совсем покинет его.

IV

Как-то рано утром он вышел из шатра и прошел к тому месту, где паслась его чудесная кобылица. Ей отведен был обширный луг, куда не смел ступить ни один конь. Царю хотелось услышать тихое ржанье в ответ на свой зов и погладить влажную, пропахшую цветочной пылью гриву. Было светло, но лагерь спал крепким утренним сном. Освеженный и бодрый, он подошел к росистой поляне.

Кобылица не щипала травы и не поднимала навстречу стройную, как стрела, шею — она игриво бегала по лугу, извиваясь змеей, и пружинистая походка ее показалась Дарию грациознее, чем всегда.

Он вздрогнул от гнева. Следом за нею бегал серый степной жеребец, покусывая ее то с того бока, то с другого. Жеребец был низенький, лохматый. Колючие травы густо вплелись в его хвост, но проворство и ярость, с которой он вертелся перед нею — то описывая круги, то поднимаясь на дыбы и шествуя на задних ногах — видимо, нравились ей. Дерзость его была выше всякой меры. Царь ждал, когда она разmozжит его своими копытами, но она лишь слегка закидывала их, чтобы сделать движение соблазнительным крупом. У Дария потемнело в глазах. Он видел, как жеребец терся об нее своим крепким телом, как она дрожала от прикосновений и нервно взвизгивала. Она отбегала на несколько шагов и ждала его приближения.

И вот свершилось... Она стала добычей степняка на глазах у своего повелителя.

— Копье! Копье!

Вывхватив дротик у подбежавшего воина, царь бросил его изо всей силы. Кобылица только теперь повернула голову на его крик. В это время в шею ей вонзилось железо. Она взвилась на дыбы и грохнулась.

— Поймать! — крикнул царь, указывая на жеребца.

Парфяне и пафлагонцы со всех сторон бежали к нему. Полный недавнего счастья, степняк стоял, расставя ноги, и, казалось, не понимал происходящего. Большие глаза спокойно осматривали бегущих людей. Но подпустив их близко, он рванулся с такой быстротой, что никто не успел бросить ни копья, ни аркана. Царь приставил нож к горлу предводителя пафлагонской сотни и прохрипел ему в побледневшее лицо, что он не увидит восхода солнца, если не доставит дерзкого коня.

Началась погоня по сонному лагерю. Поверженные люди, сорванные палатки отмечали ее путь. Вырвавшись из лабиринта шатров, жеребец нырнул в гущу персидского табуна. Табун был большой и, когда на него с криком устремились пафлагонцы, — шарахнулся на спавшее по соседству войско. Немало людей осталось в это утро лежать навсегда. Жеребец скрылся из глаз. Снова его увидели, когда он был далеко и выходил в открытую степь. С отчаянием гибнущих, пафлагонцы устремились туда, но степной конь мчался, как ветер, и скоро пропал из виду. Дарий ждал у шатра. Он велел убить всех стоявших на страже в эту ночь и теперь нетерпеливо поглядывал в ту сторону, откуда должны были привести степняка. Показались всадники. Это был Мегабаз с царской охраной. Подъехав, он распахнул плащ и бросил к ногам Дария голову начальника пафлагонской сотни.

V

Приближалась Великая Ночь. Атосса чувствовала это не по одному только безумию скифа, возраставшему с каждым днем. Сама степь, кутившаяся по вечерам то ли туманами, то ли облаками цветочной пыли, возвещала ее близость.

Наступление ее отмечено было небывалым безмолвием.

Не успело стемнеться, а уже птицы и звери умолкли, стройные мальвы застыли, устремив ввысь свои чашечки. За ними поднял опущенную голову подсолнечник, вытянулась конопель, расправила четырехгранные стебли дремука. Всё зеленое царство замерло в летаргии. От заката солнца до наступления темноты степь превратилась в храм, где возносились миллионы молитв о ниспослании благодати. Стояла хрустальная тишина. И покоряясь ее силе, персидский стан также притих и уснул.

Как только пропали последние отсветы зари, мир погрузился в такую тьму, какой не бывало от начала вселенной. Одинокие голоса звучали робко, неуверенно. Потом и они затихли.

Тогда царица ясно почувствовала зов степей. Он начался мелкой дрожью, как от озноба, и перешел в гулкое сердцебиение. Чем тише становилось в полях, тем ярче пламя тревоги. Щеки то горели, то застывали, как мраморные. Она поняла, отчего, иной раз, конь, всю жизнь верно служивший хозяину, переставал есть пшено, разламывал стойло и с беспокойным ржаньем убегал в поле.

Древняя родина призывала и манила.

Атосса бесшумной тенью вышла из шатра. На каждом шагу натывалась на спящие тела, выпряженные колесницы, груды поклажи. Прошло много времени, прежде чем храпа и сонного дыхания не стало слышно. Раздавалось только фыркание пасущихся коней. Она выходила в степь.

Глаза не хотели привыкать в темноте. Мерещился свет, неясные предметы, синие, зеленые отблески, белесоватые сгустки тумана.

Когда пасущиеся табуны остались позади и царица шла по несмятой траве, до нее долетели жующие звуки. Как в свете костра, возникла пара коней с ниспадавшими долу гривами. К ним кто-то приближался голый, с черной, как ночь, бородой. А кругом перезрелые шапки пионов цвета зари. Свет исходил, казалось, от них. Царица пошла прочь и видение пропало. Теперь ни туманов, ни шорохов, только запахи резеды, чабреца да юшаня. В эту ночь пахла каждая былинка и каждый венчик раскрывал алавастр с духами. То был язык цветов, созревших для любовных сплетений. В эту ночь они зывали о страсти и томились последней негой. Атосса чувствовала их прикосновения сквозь мокрое прилипшее платье и слышала безмолвную речь, торопливую повесть о жизни, прожитой в ожидании единственного краткого мига и только ради него.

Не цветам ли открыта тайна трех кругов блаженства?

Пробираясь во тьме, она, как в рошу, зашла в заросли бурьяна, походившие на озаренный изнутри лес. Мириады светлячков освещали их зелеными фонариками. Эти призывные, полные страсти огни любви, зажженные серыми червячками, влекли неотвратно; в каждой искорке светилось бездонное. Царица поняла, что если в дебрях жизни, таких же глухих и непроходимых, люди не сходят с ума, то только потому, что, как эти переплетающиеся стебли, озарены светом счастья, струящимся из неведомого мира.

Пока она стояла, замороженная видением, кого-то с шумом проволокли совсем близко, так что слышен был хруст бурьяна. И следом крадущаяся поступь, осторожное раздвигание травы.

Как только шорохи удалились, царица пошла, продираясь, сквозь чащу. На поляне, куда она выбралась, светлячки пропали, перед нею снова зияла ночь и мировое пространство.

— Ууу! Гу-гу-гу-уу! — раздалось над самой головой так громко, что царица присела. Удаляясь, крик повторился дважды. Она поняла, что это филин, но долго не могла подавить страха, разбуженного отчаянным воплем. Сердце забилося еще сильнее, когда через некоторое время услышала могучее ржанье. Далеко, на краю степи, заговорила толпа. Царица остановилась, и всё смолкло. Она тронулась, и толпа снова заговорила в другой стороне. Потом послышались отдаленные удары молота по железу и, совсем близко, вкрадчивый шо-пот. Какими голосами, выкриками, трепетанием парусов, свистом ветра наполнилась степь, когда Атосса бросилась бежать! Чем быстрее бежала, тем сильнее шумела степь. Цветы цеплялись за ноги, за руки, рвали одежду. Бежала, пока не упала без сил.

И опять непроницаемая тишина.

Где-то звездой вспыхнул огонек. Принимая его за обман, царица закрыла глаза и ждала, но когда открыла снова, огонек продолжал гореть.

Она нашла в себе силы пойти прямо на него. Представилось, будто летит сквозь мрак на далекую планету. Тяжелый массив, невидимый, но угадываемый, возник перед ней. Она стояла у подножья кургана. Свет теплился на самой его вершине; горел воск в каменной чаше ровным, немигающим пламенем. Чаша стояла перед черной статуей, освещая огромный круглый живот, мешки грудей и расплывшееся каменное лицо без подбородка. Младенческие плечи и руки, приросшие к телу, по-лягушечьи согнутые короткие ноги.

Царица зашла с другой стороны и силуэт обозначился черной конусообразной массой.

Богиня!

Голос ее нашел отзвук, возгласы ярости, стоны и шум борьбы. Потом торопливые

шаги, порывистое дыхание. Кто-то грубо схватил ее за плечи и она лишилась чувств.

VI

Не было человека в войске, который бы не побледнел при вести об исчезновении царицы. Только потеря знамени, сдача крепости, потухание священного огня могли сравняться с этим бедствием.

— Обречены! Все, все обречены! — шептались между собой испуганные люди.

Обыскали окрестность, но нашли только труп эфиопа. Он лежал со вспоротым животом у подножья кургана, с вершины которого таращилось лицо темного идола. Тогда Эобаз воткнул в землю меч и ринулся на него. Но ударом ноги его успели отбросить в сторону. Связанного привели перед лицо Дария.

У царя при страшном известии не дрогнул ни один мускул, только пальцы так сжали рукоятку кинжала, что кровь брызнула из-под ногтей.

— Ты ее потерял, ты ее и найдешь, — сказал он Эобазу.

Ему дали две тысячи всадников. Другой отряд составили из памфилийцев и ликийцев с Сарпедоном во главе. Третий, персидский отряд, поручили Гобриасу.

Им велели разъехаться в разные стороны и обыскать всю степь.

Вернуться можете только с царицей!

Путем Афродиты

I

Пошедшие с Сарпедоном принадлежали к числу зараженных духом неповиновения. Утомленные походом, они теперь излили затаенную злобу в открытом поношении имени даря. Сарпедон слышал насмешки и над собой. Действительно ли он сын Главка, геройски павшего в борьбе с персами? Нет, он был подменен в детстве. Кровь Главка не может течь в жилах царского раба. Тень отца отвергнет его, когда он явится к ней в царстве мертвых.

Сарпедон знал, что от него постоянно ждали смелого шага к свержению иноземного ига, и не будь он так осторожен, был бы втянут в заговор против царя. Но и сам он, выслуживаясь перед Дарием, втайне ненавидел его. Когда начался скифский поход, он загорелся великой надеждой. Тайный голос подсказывал, что царь сделал ложный шаг и должен погибнуть. Пугала только опасность погибнуть вместе с ним. Но ответ оракула в Бранхидах, которого он запросил, успокоил его:

«Ты умрешь в тот день, когда не в состоянии будешь надеть щит на руку». Толкователи усматривали в этом указание на продолжительную жизнь и мирную кончину.

Он ехал молча, погруженный в свои мысли. Проходили суровой местностью, усеянной крупными камнями, белевшими, как черепа, в траве. На них сидели большие черные птицы. В одном месте наткнулись на скелеты людей и коней с проросшей между ребрами жесткой травой.

— Мы не пойдем дальше! — закричали воины. — Ты хочешь, чтобы наши кости завтра так же забелели в полях!

Сарпедон почувствовал, что это еще не бунт, и властно заставил идти.

Вечером открылась поляна, уставленная рядами массивных каменных столбов, изображавших рыб и змей с улыбающимися пастьми и удивленными глазами. Наступало время ночлега, но войско не хотело располагаться возле скифских богов. Прошли, несмотря на тьму, еще несколько стадий. Костров не разводили, спали на голой земле.

Утром Сарпедон проснулся от крика. Ликийцы шумели и бегали по полю. Подозревая несчастье, он вскочил и стал надевать оружие, но ремня, на котором подвешивался меч, не

оказалось: от него остались мелкие кусочки. Схватив щит, он и на нем не обнаружил кожаных поручней. Зубы его застучали. Неужели это и есть тот день, когда он не в состоянии надеть щит на руку? Тут он заметил, что воины с остервенением давят мышей. Низенькая трава, покрывавшая поляну, кишела зверьками. Ночью они сгрызли все кожаные части доспехов и у многих сгрызли сандалии.

Сарпедона с криком окружили.

— Ты ведешь нас в пасть смерти! Ты более жесток, чем Дарий! Не думай, что, пролив нашу кровь, сбережешь свою собственную! Назад! Назад!

Сарпедон усмехнулся: назад — это и есть в пасть смерти.

Но они разумели не возвращение в царский лагерь, а домой — к женам и детям.

— Безумцы! Тысячи стадий, десятки рек, горы и море отделяют нас от родных обиталищ. Эти ли препятствия надеетесь вы одолеть? И не боитесь вы голода, диких племен и зверей?

Люди предпочитали умереть на пути к дому, чем в нелепых поисках царицы. Возбуждение на этот раз было так велико, что Сарпедон почувствовал невозможность сопротивления. Мрачные предчувствия охватили и его самого. Тронувшись в путь, он отклонился, в угоду войску, от указанного ему направления и свернул в сторону, с целью обогнуть персидский лагерь.

Как только ликийцы узнали, что идут назад к дому, они стали петь, смеяться и весь день были счастливы, как дети. На пути им попадались закрытые глиняные сосуды с обгоревшими костями, стоявшие на высоких каменных глыбах, бревна, воткнутые в землю с насаженными на них конскими тушами, бычьи черепа на шестах. Подъехав к высокой куче хвороста, увидели обезглавленное тело, Перед ним торчал меч острием вверх, по-крытый, как ржавчиной, запекшейся кровью. Но это не вызывало страха. С тех пор, как решились уйти домой, тайны и ужасы степей — отошли в прошлое. Казалось, уже сегодня обнимут родных и близких.

Но не успело солнце склониться к земле, как неизвестно откуда появилась конница.

Скифы!

Робкие памфилийцы сбежались к Сарпедону, как цыплята к наседке, а он, смущенный всматривался в коней и в одежды наездников. Они были не скифские. Приблизилась небольшая кучка. В ней узнали персов.

Сарпедон принял вид человека, обрадовавшегося неожиданной встрече. Он объяснил подъехавшим конникам, что сбился с пути, и спросил, как они сюда попали. То были- люди Гобриаз, ехавшего на поиски Атоссы. Гобриаз требовал его к себе. Сарпедон пространно и многоречиво рассказал ему, как заблудился в степи, как незаметно для себя отклонился от своего направления. Перс слушал, нахмутив брови. В голосе памфилийца уловил фальшь. Не пропуская ни одного слова, он следил глазами за приближением своих всадников, ездивших к войску Сарпедона. Один из них, подлетев, нагнулся к самому уху сатрапа.

— Измена! — закричал Гобриаз.

Он разрубил Сарпедону голову мечом и, ринувшись вперед, увлек за собой всё войско.

За один день ликийцы и памфилийцы превратились в толпу бродяг. Как листья по ветру, закружились они при первом ударе персов. Высокая трава поглотила их тела.

II

Войско Эобазы третий день блуждало по степи. Ковыль сменялся полынью, полынь — широкими полями бурьяна. Войско мрачнело, и Эобазу приходилось обнажать меч и хватать за горло строптивых. Он чувствовал, что скоро не в состоянии будет удержать их, и молил небо о ниспослании честной битвы, в которой мог бы пасть.

Угрюмо глядя на начинавшие увядать цветы, бежавшие под копыта коня, он незаметно приблизился к холмистой гряде. Взлетев на гребень, персы остановились в изумлении: Море!

Это был лес. Бесконечный, как степь, он рос в громадной ложине и темные волны его

верхушек катились до самого горизонта. Это был первый лес с тех пор, как они спустились с фракийских гор. Вид его навевал на Эобаза тоску безнадежности, точно это был край земли. Он уже хотел поворачивать коня, когда ему указали на косматых людей, застывших в позах оленей, слышавших врага. Они мгновенно исчезли, как только почувствовали, что их заметили. Тогда войско вихрем спустилось в лесную долину. Ветви били по глазам, цеплялись за одежду, застилали путь. Сошли с коней.

Лес начинался веселой дубовой порослью, такой густой, что сквозь нее надо было продираться. Но чем дальше — тем деревья крупнее и выше шатер листвы. Стучали дятлы, с хохотом взлетали тетерева, а над головой пышнобородого Эобаза стрекотала пичуга, перелетая с сучка на сучок. Ни людских, ни звериных троп, только кружевной ковер папоротников, доходивших до колен. Лес густо, неумолчно гудел.

Эобаз упивался мыслью, как рыбу в сети, поймать врага в широкий охват, которым шло по лесу его войско. Он разрубил голову непокорному воину, как только тот выразил желание повернуть назад.

— Всякий, кто это сделает, наткнется на мой меч! Но таинственных людей не было.

Сумрак леса тяготил после степных просторов. Когда же лиственные деревья сменились дремучим бором с бронзовыми стволами сосен и пирамидами елей — персы совсем притихли.

Далеко послышался крик и ему ответил другой, еще дальше. Кричал не зверь, не птица, не человек.

Из складок потрепанных одежд стали извлекать пузырьки со священной коровьей мочей и окропляли себя ею. Верившие в халдейские заклинания, привешивали к древкам копий медного идола с выпученными глазами. Крик повторился совсем близко. Персы почувствовали себя во власти Аримана. Они давали обет убить две тысячи лягушек и жаб, тысячу змей, две тысячи пауков и тараканов. Кроме того, они обратились к запрещенному Дарием ритуалу магов: обрезывали ключья волос и пускали по ветру, обводили глаза, ноздри, уши и рот белой краской, отрекались от своего имени, выдавая себя за благочестивых отшельников.

Эобаз ревел, как разъяренный бык.

— Вы не воины, но куры, боящиеся крика ястреба! Поистине, царь окажет величайшую милость, если велит отрубить вам головы. Вы достойны быть распятыми на этих деревьях!

Он двинул вперед войско, как сдвигают тяжелый корабль с мели. Открылась поляна с густой пшеницей и с торчащими из нее обгорелыми пнями. Высохшее от старости дерево простирало над нивой костлявые сучья, а на них, как спелые плоды, висели бычьи и оленьи черепа вместе с полуистлевшими шкурами зверей.

Вид посева осенил Эобаза величайшей догадкой о близости скифских поселений. Он понял тайну неуловимости номадов и бесполезность блуждания царя по степи. Враг укрывается в лесной глуши. Ему, Эобазу, выпало на долю найти ключ к победе и к быстрому окончанию войны. Сладкий хмель предстоящей славы ударил в голову и он погнал свое войско дальше. Теперь лес пошел необыкновенный, невиданный, с белыми стволами деревьев, точно облитыми молоком. Листва пахла свежо, опьяняюще. Хруст валежника, испуганные возгласы и толпа, сбегавшаяся к нему, прервали грезы Эобаза. Из отрывочных восклицаний он понял, что люди только что видели ужасных духов. Поклявшись, в случае неправды, покарать беглецов, он приказал вести к тому месту.

Его привели к озеру с топкими берегами и чахлыми деревцами по краям. Местами росла осока, колыхались желтые кувшинки и водяные лилии. Остальная поверхность утыкана была редким камышом. Подозревая ложь, Эобаз захотел приблизиться к самой воде. Озеро словно кипело, подогреваемое снизу. Камыши издавали чуть слышный свист и беспорядочно колебались. Но не от ветра. Он уставился на ближайшую камышину и едва не уронил меч, а длинные волосы впервые за всю жизнь зашевелились под шлемом.

Кто-то, поросший шерстью, сидел под водой, держа во рту конец камышевой тростинки. Волосы водорослями колыхались над дремучим лицом и из-под них на Эобаза

глядели белые водяные глаза. Неподалеку таращилась такая же пара глаз, еще и еще... Всё озеро населено чудовищами и у каждого рос тростник изо рта.

Эобаз не помнил, как выбрался из прибрежной топи, как вернулась способность говорить и стоять на ногах. Хотя он мог уже грозно прикрикнуть и разбранить людей за трусость и ложную тревогу, но его бледность и неуверенность в голосе не укрылись от войска. Страшные белые глаза ледянили кровь, как глаза горгоны. Он приказал всем собраться и двигаться густой массой.

Путь преграждало болото. Огибая его, вошли в стройную рощу, сквозь которую поблескивало новое озеро. Роща стояла между болотом и озером. У корней одного дерева Эобаз заметил опилки и щепки. Ствол был подрублен и место поруба искусно закрыто травой. Его снова молнией осенила мысль о близости врага. Где-то совсем недалеко его хижины, его дети и жены... Забыв недавний страх, он выпрямился, собираясь громовым голосом подбодрить персов, но загадочный крик, слышанный в отдалении, раздался теперь над самым ухом.

Проклятия, угрозы возвестили Эобазу, что власть его над войском кончилась. Оно начинало ошестиниваться копьями.

— Смерть ему! Смерть!

Уже поднимались дроты, натягивались тетивы луков, когда лес огласился пением падающего дерева. С гулом, похожим на подземный удар, оно грохнулось в самую гущу персов. Со всех сторон стали клониться верхушки, зацепляя сучьями соседние стволы, увлекая их в своем падении. Голоса людей потонули в свисте и грохоте падающих деревьев. Лес рушился на головы персов.

Эобаз с бесстрашием астролога следил, как дерево, приближаясь к земле, ускоряло движение, как оно, точно сетью, накрывало ветвями копошащихся людей и как земля вздрагивала после каждого падения.

Упавшие стволы преграждали путь к бегству. Персы гибли десятками. Они путались в листве и придавливались новыми стволами. Те, кому удалось выбраться из страшного нагромождения, забежали в трясину, где их стало засасывать.

Эобаз стоял, как во сне. И вдруг схватился: бежать! Помчался, перепрыгивая через пни и павшие стволы. Открылось озеро... берег...

И снова волосы силятся приподнять шлем, ноги подгибаются, деревянныеют... Озеро поросло таким же тростником, как то, другое, и тростник начинает, подобно лесу, валиться в разные стороны. Из-под воды, одна за другой, вздымаются головы с прилипшими волосами и бородами. Их много, всё озеро покрывается ими и они идут, идут к берегу...

Ноги Эобаза начинают сами плясать, из широко раскрытого рта вылетает конское ржанье. Он кривлялся и хохотал, пока брошенный с озера топор не раскроил ему черепа.

Не успело отгнеть последнее дерево, как со всех сторон устремились люди в мокрых звериных шкурах, потрясая топорами и копьями с костяными наконечниками.

Персы были уничтожены все до одного.

III

Царица чувствовала, что лежит на спине и стянута суровыми ремнями, но долго не могла понять, где она и что за светлая, ровная, как эмаль, синева стоит перед глазами? Только, когда на ней затрепетали крылья бабочки, проплыл степной орел и качнулись маки, ей стало ясно, что это небо.

В памяти встали события минувшей ночи.

Атосса всю жизнь томила страхом только перед непонятным и необъяснимым, но никогда не боялась ни людей, ни зверей. Мысль, что унижительное положение, в котором она находится, создано чьей то дерзкой человеческой волей — вызвала гнев. Она уже готова была грозно позвать слуг и рабов. В это время могучая рука отстранила цветы и вслед за нею всплыло лицо, при виде которого Атосса вскрикнула. Всё то же лицо с неподвижной

улыбкой и с прядями желтых волос.

Мир осветился радостью. Стало ясно, что над всеми дорогами и тропинками ее жизни простерта длань Афродиты. Но скиф грубо схватил ее и поднял. Закачалась степь, фигура коня, густая волна травы ударила в лицо. Царица почувствовала себя лежащей поперек седла и погрузилась в беспамятство.

Очнувшись от яростного топота. Она опять лежала на земле связанная, а в нескольких шагах бесновался конь, стараясь вырваться из рук Адониса. Скиф предвидел каждое его движение и рука, вцепившаяся в узду, искусно поворачивала конскую морду то вправо, то вле-* во. Иногда он, ломая челюсть железными удилами, пригибал ее к самой груди коня. Тогда из ослабленной пасти вырывались резкие хрипы. Конь изнемогал, в глазах его горел такой ужас, точно он вырывался из когтей льва. В последнем отчаянии рванулся на своего врага, но тот, во время отступив, так перегнул ему голову, что аравиец грохнулся. Вскочив, хотел повторить движение, но снова упал, на этот раз головой в землю. Он иступленно забил ногами, захрапел и затих.

Чуть живая, Атосса следила за каждым жестом Адониса, и когда он застыл изваянием среди помятой травы, подняв к небу озаренное лицо, она поняла, что это не скиф, не смертный, а Он — божественный спутник Афродиты, ниспосланный ей пафосской богиней.

Он снял с нее врезавшиеся в тело ремни, но зато скрутил руки и на конском поводу повлек по степи, как рабыню. Царица была тиха, покорна.

Она до вечера шла сквозь высокие травы за своим похитителем. Ей давно казалось, что счастья нельзя испытать, не перейдя в другой мир, не похожий на тот, в котором жила. Теперь это сбылось. Где-то остался персидский стан, царский шатер, золото, власть и поклонение. Она — невольница дикого номада, должна спать на сырой земле, питаться странными кореньями и ягодами, положенными перед нею рукой ее владельца.

Ей не хотелось есть, но она вкусила от степной трапезы в знак причащения к новой жизни.

Счастье близко. Оно должно прийти.

Скиф на ночь связал ей руки и ноги и конец ремня привязал себе к локтю. Это наполнило ее блаженством. Теперь не одной таинственной, незримой связью соединена она с ним, но телесно, вещественно. По грубому ремню из конской кожи от него исходил волнующий ток, благодатная сила, которую она впитывала, как сухой песок Египта впитывает воду Нила.

Долго не смыкала глаз, а когда заснула, сон был без видений, но блаженный, сладостный сон. Оживала, как земля после зимнего оцепенения. Оттаивали замерзшие пласты, пробуждались потаенные источники, тело набухало, преисполняясь свежестью и цветением.

Царица содрогнулась. Скиф спал, а она, прижавшись, крепко обнимала его освободившейся от пут рукой. Пламя стыда опалило щеки и она весь остаток ночи мучилась уязвленной гордостью дочери Кира и царицы Персии.

Но только утро пробудило улыбку Адониса — она забыла обо всем и приготовилась следовать за ним на край света.

IV

В безбрежном море травы можно ли найти дорогу и не сбиться с пути?

Но скиф шел уверенно. Он часто останавливался, рассматривал следы, поднимал на ветер пушинки, следя за их колебаниями, нюхал воздух, как волк. Нередко оставлял царицу одну, а сам уходил на поиски троп.

В такие минуты она погружалась в созерцание цветущей, сверкающей степи и чувствовала, что степь уже не та, в ней что-то переменялось, как в девушке после брачной ночи. От цветов веяло пресыщенностью, избытком жизни. Они ничего больше не желали — клонились к покою, к смерти, и смерть не была им страшна.

Мы счастливы, мы блаженны, мы ничего не боимся!

Атосса до забвения всего окружающего задумывалась над счастьем цветов. Неужели это один только миг? Что же означают три круга блаженства?

Мысли кружились, сплетались, создавали непроходимые дебри.

А к вечеру она с молитвенным страхом смотрела, как Адонис, весь бронзовый от лучей заката, следил за пылающим диском, опускавшимся в бездну. Она впервые видела, с какой страшной скоростью уходило солнце. В мире оставалось еще много света, еще полнебосклона горело чистым сиянием, но на другом конце степи кто-то уже сдвинул брови и нахмурил лицо. Когда скиф обернулся в ту сторону, он взволнованно заговорил, указывая в темнеющую даль, и пошел так быстро, что царица едва поспевала за ним. Мелькнула желтая звезда. Сердце у Атоссы сильно забилося, когда поняла, что это пламя большого костра. Скиф почти бежал, не сводя с него замороженного взгляда. Долетало потрескивание хвороста. Огонь горел на вершине крутого кургана, у подножья которого обозначились всадники. Они окружили курган кольцом, точно защищая от нападения. Заря играла на копьях, угрожающе поднятых навстречу врагу, и на больших красных щитах, выставленных, как перед боем.

В воздухе стоял скрип воронья. Черные птицы садились на конские гривы, на плечи воинов, на косматые головы, глядевшие впадинами. Глаза были выклеваны.

Царица схватилась за руку скифа, но под его кожаной одеждой почувствовала не тело, а твердый мрамор. Адонис окаменел и двигался, как статуя. Он медленно обходил неподвижную стражу кургана. Кони не стояли, а висели в воздухе, едва касаясь ногами земли. Они были насажены на толстые копья, врытые в землю. Копье прокалывало насквозь коня и всадника, пригвозждая навек к темной насыпи холма. Множество кольев, со струйками запекшейся крови, подпирало их со всех сторон. Глянула свесившаяся голова с жалобно ослабленным ртом.

Атосса не знала, от чего больше цепенеет — от страшного ли молчания мертвого воинства или от мраморной неподвижности Адониса? Но когда заря залила бледное лицо скифа, ужас царицы сменился величайшей скорбью. Сама не зная отчего, она заломила руки и с плачем повалилась на увядшую траву.

V

Скифский стан притих от ошеломляющей вести. Царица Персии, жена Дария приведена, как пленница, и поставлена перед Скопасисом. Возле нее сгрудилась вся ширококоротая многоглазая орда, пришедшая взглянуть хоть на край одежды чудесной пленницы. Никогда Атосса не испытывала такой тупой, давящей силы, исходившей от молчаливого созерцания, от заросших лиц и десятков тысяч белых глаз. Ей стало трудно дышать, голова закружилась и это помогло пережить страшную минуту унижения, когда варвар с осунувшимся лицом и блуждающим взором осматривал ее, как товар на невольничьем рынке. Не будь ее руки связаны, она убила бы себя в этот миг.

И еще спасло ее лицо Скопасиса. Видела его, как сквозь сон, но ясно чувствовала, что, глядя в упор, варвар не замечал ее. В этом лице, снедаемом заботами и страхом, застыло безумие. Он так и ушел, не сказав ни слова. Продадут ее теперь или сделается она наложницей кочевника? — ей было всё равно. Она думала о другом — о чарах Великой Ночи, которые оказались обманом. Нестерпимее всякого позора, что ее принес в дар царю тот, чьей рабой и добычей ей так хотелось стать.

VI

Начиналась жара. Лепестки обгорали, цветы чернели и опускали головки. Пьянящие ароматы сменились запахом сохнувших стеблей. Шло умирание трав, такое же беспечальное, мудрое, как пора цветения. Время созревания плодов, знойный полдень жизни вставали над

степью.

Какое счастье умирать, свершив положенное, и как горько увядать и сохнуть бесплодной, не исполнившей долга на земле, не вкусившей самой светлой радости!

Атосса ощущала это, как вину. Теперь стало ясно, что путь, которым ее вели, не был путем блаженства. Всё завершилось грязной повозкой, к которой она прикована, и мерным шагом скифских волов. На них можно кричать, их можно бить, но они всегда будут идти одинаково.

Медленнее волов тянется время в степи. Атосса не знала, сколько его протекло с того дня, как она прибыла в скифский стан? Целая вечность!

Уныло качается фигура старика, шагающего за повозкой, так же мерно, как волы. Глядя на его опущенные плечи и голову, Атосса начинает понимать, что он шагает тысячи лет и что удел его народа — идти за своей громоздкой телегой в неизвестное, в бесконечное.

В минуту раздумья предстал Адонис. Он был с мечом, со щитом, сплетенным из ивовых прутьев, а волосы покрывала скифская шапочка, похожая на фригийский колпак.

Приблизившись, он натянул цепь, которой она была прикована к телеге, и убедившись в прочности — ушел.

Неужели царь не принял ее в дар и она попрежнему пленница Адониса?

Однажды вместе со скифом пришел человек в медных латах. По чистоте одеяния, по благородству осанки, по разумному открытому лицу она узнала эллина. Он преклонил колени и приветствовал ее, как царицу.

— Я знаю, — сказал он, — что ты не взята в плен, но избрала скифский стан по влечению сердца. Таков и я. — Он рассказал, как стремился в степи, презрев советы друзей, голос разума, и как теперь страдает, подобно ей. — Ужасна степь, но я еще не утратил веры в эту роковую страну. Не теряй ее и ты.

Никодем говорил неправду. Он был уже не тот. Даже внешне изменился. Между бровями залегла складка, а из-под шлема выбивалась белая прядь волос. Он давно понял, что борьба проиграна, что скифская мощь, в которую так верил, оказалась призраком. Войско за время отступления превратилось в толпу сброда и растаяло наполовину. Мысль о сокрушении персов с помощью этой силы была смешна. Скифы могли спастись бегством, утомив Дария бесконечной погоней, но победа, ради которой он всем пожертвовал, но мечты его о разгроме персидских полчищ, об избавлении Эллады — где они? Понял, что жизнь прожита неудачно. И снова жалел сокровища. Часто вспоминал тот день, после кровавого пира в палатке, когда ему сказали, что только дарами и подкупами можно предотвратить бунт племен, чьи вожди оказались избиты Скопасисом. Вспоминал, как он устремился навстречу кочевникам, шедшим к царской ставке со всеми своими стадами, раздавал кольца, монеты, ножи с украшенными рукоятками, а наиболее знатным — браслеты и ожерелья, как от авхатов спешил к катиарам, от катиаров к трасниям и везде примирял народ со Скопасисом. Он всюду произносил речи о великой угрозе, надвигавшейся на Скифию, и был смущен, когда, рассказав о сотнях тысяч бойцов, узнал, что слушавшие его не умеют считать больше пяти. Помнил также, как племена, которых он не успел повстречать в пути, приходили к нему потом за подарками.

Не лучше ли было не усмирять их гнева, но позво- лить убить Скопасиса?

Злоба против него достигла у Никодема силы ненависти к Дарию. Варвар боялся не столько преследовавших его персов, сколько своих людей. Ни одной ночи не спал спокойно и, хотя вокруг него плотным кольцом ложились те, чья клятва последовать за ним в могилу, заставляла оберегать его жизнь, как свою собственную — пробуждался при каждом шорохе. Убивал всякого, кто осмеливался спрашивать о причине бегства.

- Мы окружены сообщниками Иданфирса! — твердил он.

Мало ел, мало пил и всегда обдумывал, кого бы тайно убить либо предать казни перед лицом войска. Подозрению стали подвергаться прославленные воины. Никодем знал, что этот страх — возмездие за собственную тиранию и не осуждал людей, убежавших каждый день по одиночке и целыми толпами. Пойманных закапывали в землю по самую шею и

потом отрубали им головы. С других сдирали кожу.

Казнями и разорением своей земли Скопасис словно хотел утратить врага. Последним его злодейством было уничтожение Гелона. Никодем часто слышал это имя, но не вникал в него. Узнал, что такое Гелон, ранним утром, когда вдали засиял город, похожий на пышный царский венец. Он не белел, как эллинские города, не сверкал, подобно городам египетским и вавилонским, он светился мягким, неотразимым для глаза внутренним светом. Это происходило оттого, что весь он был выстроен из дерева. Даже стены. Скифские цари следили, чтобы каменных построек не воздвигалось. Цари здесь не жили, проводя круглый год в кибитках, зато часто наезжали за данью. Брали медом, воском, зерном, глиняною посудой, оружием, льняными тканями и бобровыми шкурами. Гелон стоял на границе леса и степи и ворота его украшались снопами пшеницы, полынью, турьими рогами, глухаринными крыльями, шкурами зубров и бобров. Золотые поля пшеницы окружали город, а ближе к стенам, как дым, синели сады. В Никодеме проснулся торговец и ценитель скифского зерна. Он с грустью смотрел, как орда, навалившись на колосившееся море, побеждала его пядь за пядью. Но он забыл об этом при виде множества жителей, высыпавших на стены, на остроконечные, изогнутые крыши и башни. Его озарила мысль, что Скопасис шел сюда, чтобы дать битву Дарию под стенами скифской столицы. С волнением, которого давно в себе не замечал, Никодем стал рассматривать невиданные бревенчатые своды, брусчатые ступени, резные столбы, острые, как стрелы, покрытия башен. Только теперь открыл тайну зодчества. Оно родилось из дерева. Камень пришел позднее и во всем подражал дереву. Обращение к нему было отступлением от воли богов, давших дерево, как единственный подлинно строительный материал.

Скопасис объявил жителям, что если они не выйдут и не присоединятся к нему, то будут сожжены вместе с городом. Весь день стоял плач. Из ворот тянулись повозки, выходили люди, гнали скот, а к вечеру Гелон вспыхнул со всех сторон, осветив степь невиданным заревом.

В нем сгорела последняя надежда Никодема.

VII

— Ты должен бежать. Завтра тебя казнят.

Никодем давно чувствовал на себе взгляд Скопасиса, такой острый, что вздрагивал и оборачивался.

Бежать. Только сейчас открылся ужас этого слова. К персам бежать? В Ольвию? В Милет? Он усмехнулся безвыходности своего положения и своей обреченности. Но еще больше угнетала самая мысль о бегстве. Таскаясь со скифами по степи, он сохранял видимость участия в великом деле и хоть знал, что дело не удалось, но присутствие в войске спасало от последнего отчаяния, от сознания совершенных ошибок и гибели всех надежд. Бегство было бы величайшей насмешкой и поражением. Никодем всегда презирал позорное жизнелюбие. Зачем оттягивать конец, рискуя умереть недостойно? Но ему сказали, что в бегстве не только спасение, но обретение того, зачем он прибыл в степи. Сказали, что Скифия давно отвергла Скопасиса, что где-то собираются силы всей земли. В отдаленных кочевьях, в глухих оврагах, что скрыли жен и детей, в уцелевших селениях пахарей произносится имя Иданфирса и поются песни про Черные Воды. Туда стекается всё, что спаслось от Дария и от Скопасиса. Там червонят сарматские щиты и копья, сверкают решётчатые шлемы, белеют длинноволосые головы будинов и льняные одежды агафиров: там черными привидениями движутся долгополые халаты ме-ланхленов. С берега Меотиды пришли керкеты, аорсы, гениохи, тореты, псесии, синдии, дандарии; пришли макрокефалы, вооруженные каменными топорами. Даже тавры, долго отсиживавшиеся за Истмом, пришли после того, как Иданфирс послал к ним свою конскую плеть. Все, кто в начале войны старался остаться в стороне, кто отказал в помощи Скопасису или бежал в лесные дебри севера — пришли теперь к Иданфирсу. Они пили перед ним воду из Вечного Родника и

вступали в его войско. Ночью, с толпой всадников, Никодем покинул стан Скопасиса и скакал, сам не зная куда. Было печальное утешение в том, что он бежит не один, а с целым войском.

Гнали всю ночь без роздыха, а на заре остановились, чтобы прислушаться. Погони не было. Скопасис, видимо, не мог уже бороться с повальным бегством. Но впереди угадывалась опасность. Скифские лошадки устали туда свои волчьи уши. В наступившей тишине Никодем уловил звук, похожий на пробуждение пчелиного улья весной.

Стараясь понять, что это такое, он заметил возле себя уродливый силуэт. На коне сидело чудовище. С трудом различил в предрассветном сумраке две головы и две разные одежды. Один, сидевший в седле, держал другого на руках, как младенца, и этот, другой, вытянул бледное лицо в ту сторону, откуда доносился загадочный звук. Забыв обо всем, Никодем стал присматриваться и вздрогнул, узнав персидскую царицу. Куда теперь мчали ее от Скопасиса, не принявшего и не оценившего царственного дара?

Вглядываясь в полутьму, она понимала, что еле слышное гуденье исходит от персидского стана. С самого дня своего похищения не думала о нем, как о потонувшем мире, но теперь этот далекий шум безвозвратно ушедшей жизни отозвался в груди острой болью. Там был ее звездный шатер, царское величие и ожидание чуда. Там был и он — ее пленник, позванивавший по ночам цепью возле палатки. Не лучше ли было, как тогда, жить одним только ожиданием счастья, не пытаясь к нему приблизиться?

VIII

После трех дней бешеной скачки открылась с высоты холма рыжая равнина, напомнившая Никодему виденный когда-то в Сирии клочок шевелящейся, полной мелких букашек, земли. Она походила на море спелого зерна, где двигалась каждая крупинка.

То были Черные Воды.

Многотысячная орава конных и пеших высыпала навстречу. Тут были те, что раньше бежали от Скопасиса, и те, что наслышались от них о необыкновенном эллине, пришедшем спасти скифскую землю. Его чтили, его ждали. Он должен был, сидя на коне, выпить чашу кобыльего молока в честь Иданфирса. Потом, под восторженные крики, двинулся через весь лагерь. Радоваться ли было такому приему и позволять ли сердцу снова проникаться надеждами? Не заставят ли его здесь опять держать раскаленное железо?

Но, помимо собственной воли, Никодем почувствовал себя таким же бодрым, полным устремлений, как тогда, ранней весной.

— Я знал, что ты придешь, — сказал ему Иданфирс и, не дав произнести приветственной речи, повел его в палатку так стремительно, что Никодем едва поспевал.

— Ты мне всё это откроешь и всему дашь имя, — сказал он страстным шопотом, обводя рукою пространство.

Палатка полна была золотых, серебряных, глиняных, расписанных черным и красным лаками — ваз. Стены покрывали милетские ткани с изображениями гигантомахии, странствий Вакха и мук Тантала. Нигде у себя за морем Никодем не видел такого собрания прекрасных эллинских изделий. Как часто он сам привозил в Скифию эти роскошные гидрии с тонкими шеями, гигантские пифосы, широкие, как колокола, кратеры, изящные лекифы и диносы, и как мало он замечал тогда их красоту! Собранные в большом числе здесь, в варварской палатке, они стройным хором возносили хвалу Элладе. Никодем узнал, что ни один из благородных сосудов не украшал пира и не наполнялся вином на потеху толпе. Царь хранил их для услаждения взоров и подолгу просиживал в палатке, любясь ими. Он жаждал погружения в незнакомый мир, но не находил путей и томился окружавшей его тайной. Эти голые, недобрые люди со странной улыбкой, с большими, как у ястребов, глазами. Кто объяснит их ему? Кто расскажет о женщине в шлеме и в длинной до пят хламиде со щитом и с копьем? О людях с козлиными ногами, о человеке с бычьей головой, о полулюдях, полуконях? И что за могучий муж, что держит на плечах конец большой дуги, а перед ним

столь же могучая фигура, протягивающая три яблока?

— Я мучаюсь этой загадкой, — сказал Иданфирс, — и не могу разгадать. Я чувствую в этом изображении много мудрости и всякий раз смотрю на него.

— Сами боги направляют твой ум, царь! Это один из подвигов Геракла — твоего предка, от которого пошли скифские цари и весь народ скифский.

Иданфирс нахмурился:

— Мне известны все мои предки, но такого среди них нет.

Он показал Никодему царский топор из отшлифованного кремня с рукояткой, обложенной золотом. Во всю длину ее тянулись клейма и в каждом клейме — знак одного из царей, правивших до Иданфирса. Первым был бог, чье изображение в роду Иданфирса и среди подвластных ему племен носят на щитах, на чепраках, вышивают на стенах палаток. Это — Великий Бобр, правивший Скифией сто человеческих, двадцать конских и четыре лисьих жизни тому назад. Он истинный отец царей, а не змей, от которого ведет свой род Скопасис. Клеймо с изображением змея на его топоре сделано дедом Скопасиса. Это знают все, и никто не верит в его происхождение от змея. Род его пошел неизвестно откуда. Только бобр мог дать жизнь царскому поколению, доказательством чему служит его благоуханная, не встречающаяся ни у одного зверя, струя. После него правили полубобры, полулюди. Рассказывают, что еще в четвертом поколении у прадеда Иданфирса замечен был бобровый хвост. Таким он изображен и на одном из золотых клейм священного топора.

— Но своим рассказом о Геракле ты взволновал меня. Если эллины считают его нашим предком, об этом надо подумать. Эллины мудры. А ты расскажи мне еще о нем.

Никодем объяснил все подвиги Геракла, изображения которых находил на вазах; борьбу с Антеем, битву с Лернейской гидрой, с Немейским львом, убийство Какуса.

Иданфирс слушал с задумчивым видом. Потом, взяв грека за плечи и заглядывая в самую душу, спросил:

— А что, если это ложь?

— Нет, царь! Эллинам известно происхождение всех народов. Они и про персов знают. Этот народ — тоже божественного происхождения, ведет начало от другого сына Зевса. Но ты можешь гордиться перед всеми: ни один из отпрысков вседержителя, рожденных от смертных женщин, не совершил столько подвигов и не был так возвеличен людьми и богами, как Геракл, твой предок.

Бледный Иданфирс воскликнул:

— Я знаю, что эллины мудры и люблю их за это, но знаю, что они хитры и коварны. Нашу честность и доверчивость объясняют слабостью нашего ума и гордятся, когда обманывают нас. Вот почему я готов каждого эллина увенчать царским венцом за его ум, а потом отрубить голову за неправду.

— Знаешь ли кто я? Я сын Солия и племянник Ана-харсиса. Вам ли, эллинам не знать Анахарсиса?

Но Никодем не знал. Тогда Иданфирс опять спросил:

— Известно ли тебе, чтобы цари ездили учиться мудрости в чужие страны?

Никодем покачал головой. Воевать и грабить ездили, но за мудростью — никогда. Царь мудр от рождения. Так во всех странах.

— Но у нас были цари, чья мудрость заключалась в том, чтобы не считать себя мудрым от рождения. Таков мой дядя, великий Анахарсис, смиливший царскую гордость и поехавший к вам за море. Он знал нашу любовь к мудрости и хотел привезти ее от вас. Я плачу о нем, когда вспоминаю. Он многое видел в Элладе и многое узнал. Но он стал жертвой вашего коварства — привез в Скифию вместе с разумным и полезным — навязанные вами обычаи и обряды, с помощью которых вы хотели распространить свою власть на наши земли. Отец мой Солий не стерпел измены и пустил в него стрелу... Отец мой тоже был прав. И вот я, Иданфирс — одинаково чту отца и дядю — люблю эллинов и ненавижу их в то же время. Я часто прозреваю в моих думах, что не вечно им возноситься умом над нами. Будет день, когда оскудеют им хитрые и недобрые и приложится он к

правдивым и доблестным. И тогда — горе вам! Но ты не печалься. Когда скифский меч блеснет над твоей отчиной, пусть ваши люди выйдут вот с этими вазами на головах, и меч опустится...

Потом они стояли у Вечного Родника. Иданфирс протянул Никодему свою золотую чашу, наполненную чистой, как кристалл, струей, и Никодем пил святую воду в знак готовности служить Иданфирсу, доколе не будет сокрушен Дарий — враг Скифии и Эллады.

IX

Пришло время и Атоссе предстать перед Иданфирсом.

Ее вели с еще большей торжественностью, чем Никодема. Вся Скифия знала о пленной царице. О ней пели песни, складывали сказки и теперь сама степь не вмещала желавших взглянуть на нее.

Скиф привел ее связанную к царской палатке и, как только Иданфирс вышел — разрезал веревки и толкнул так, что Атосса упала в ноги царю. Ошеломленная, она увидела величественное, ласковое лицо Иданфирса, грубый золотой браслет, который надевали ей на правую руку, услышала рев толпы, приветствовавшей ее, как невесту царя. Тогда обернувшись, чтобы найти глазами Адониса, сделала к нему несколько шагов и упала без чувств.

Я — Дарий Ахеменид

I

Совершилось погребение и успокоение в земле семян, созрели корни и клубни, подземные кладовые грызунов наполнились запасами, обучились летать птенцы и собирались в большие стаи для отлета. Степь, завершая великое дело, клонилась ко сну. Но всю ее от Истра до Танаиса прорезала глубокая морщина заботы и гнева. Каждый высохший стебель шелестел о мести, о воздаянии врагу. Филины по ночам призывали к изгнанию чужеземцев, лисицы лаяли на серебряные знамена и на пышно убранных слонов, а галки составляли заговоры против Дария и громко совещались на заре. Степь желтая, выжженная задыхалась в пыли, в горячем воздухе, варилась в красном вареве закатов и грозно сверкала зарницами по ночам.

Упорный враг продолжал, как железом, проводить суровую борозду по ее лицу. Никто еще не заходил так далеко и не бросал вызова скифским просторам. И кому открывались их глубины, кто умел читать в их тайнах, стало известно, что Дарий осужден и приговорен к гибели. Его предостерегали свежие ветры с Меотиды, ему кричали стаи воронов, следовавших за войском. Еще он гнал перед собой скифов, рассчитывая настигнуть и разбить, но уже вся степь знала, что он гонится за призраком. Безумец преследовал безумца.

Бедствие, горчайшее из всех, что были до сих пор, посетило его. Скифы подожгли степь. Весь день тянуло гарью, слезились глаза, скребло под черепом, а к ночи надвинулся огненный ураган. Когда он, дойдя до персов, разорвался надвое и яркими лентами стал обходить лагерь, перед Дарием открылась черная, непроницаемая бездна.

— Через четыре дня ослы и кони падут, колесницы и грузы будут брошены, а потом войско ляжет костями, — услышал он чью-то взволнованную речь.

Царь потребовал совета у приближенных. Они молчали. Только двое предложили немедленное отступление. Это походило на удар молотом.

Дарий мог вернуться в Сузы только победителем. Мысль о том, что, растеряв половину войска и ни разу не повстречав врага, он возвратится под брань и проклятия черни, под колкие насмешки знати — душила его больше, чем дым пожарища. Он колебался: отрубить

ли безумцам носы, уши, вырезать языки или сделать вид, что не слышал их слов?

Тогда заговорил Агелай.

- Нет, царь, отступать можно было до пожара. Теперь поздно. Степь позади нас выгорит на большем пространстве, чем спереди. Скифы пустили огонь в нашу сторону, но того, что лежит у них на пути, они жечь не станут. Продолжая преследовать их, мы скорее достигнем травы, чем обратившись вспять. Ведь враг находится от нас на расстоянии одного-двух дней пути.

- Клянусь, Агелай, если сегодня ты окажешься прав, милость моя пребудет на тебе вечно!

По совету горбуна, выступили, несмотря на ночь. Конница и верблюды сразу же утонули во мраке. Им велено было идти налегке и как можно скорее достигнуть травы. Чтобы ослов и мулов сделать быстроходными, часть ноши с них переложили на боевые колесницы. Полководцы ворчали. Они боялись попасть в засаду. Но, по мнению грека, скифы были далеко в эту ночь и коварства их можно было не опасаться.

Шли в такой тьме, что нельзя было увидеть собственной руки. Люди падали в овраги и ранили себя собственным оружием. Их оставляли умирать. Был случай, когда две толпы, надвинувшись друг на друга и не будучи в силах разойтись, подняли такой шум, что шедший поблизости отряд персов напал на них, приняв за неприятеля. Битву остановили, но раненых опять не подбирали. К утру персы, усталые, ропщущие, брели нестройной ордой и требовали отдыха. Агелай сказал:

— Пусть падают больные и усталые, пусть повозки и мулы остаются в степи — наше спасение в неустанном движении.

После полудня ропот усилился и начальники с трудом погоняли готовых заснуть на ходу людей. Ариарамн приступил к Агелаю с грубой бранью.

— Сумеешь ли, господин, разбудить через два часа уснувшее войско? — спросил его горбун. К вечеру он согласился на отдых.

Новая ночь наступила страшнее первой. Местность пересекало множество оврагов, дно которых персы устлали своими трупами, сломанными повозками, колесницами и издыхающими животными. В ту ночь кони сильно похудели. Увидев наутро их ввалившиеся потные бока, Агелай велел облегчить их ношу. Их часто останавливали для отдыха, но кони выбивались из сил и под конец стали храпеть.

Царская свита робко, невзначай роняла замечания, клонившиеся к гибели Агелая. Царю донесли, что уже половина его колесниц осталась в степи со сломанными дышлами и разбитыми колесами. Потом он услышал, что войско бредет в беспорядке, бросает щиты и при встрече с врагом не в силах будет сопротивляться. Пришло известие о падеже коней. Прекрасные питомцы Элама оставались лежать с оскаленными зубами на обгорелой земле. Когда царь размышлял над этими слухами — в войске началось смятение. Навстречу двигалась серая пелена пыли.

— Измена! Проклятый грек отдал нас в руки врага! Агелая схватили, заковали и Дарий поставил за спиной у него черного нубийца с мечом, чтобы снести голову, как только скифы приблизятся на полет стрелы. Вожди пытались привести войско в порядок, но оно перемешалось настолько, что сделалось кричащим, толкающимся сбродом, от него ничего нельзя было ожидать, кроме бегства при первом же натиске.

Ариарамн разорвал на себе одежды.

Но в приближающейся пыли заметили очертания горбов, пестроту знакомых плащей, позывные сигналы. Это возвращались верблюды, посланные вперед Агелаем. Они сложили свою поклажу и пришли взять новую. Принесли весть, что трава найдена и находится на расстоянии полудня пути.

— Нет, грек, тебе не суждено умереть позорною смертью, — сказал Дарий, — ты кончишь дни на золоте и пурпуре!

Давно было замечено, что полоса вытоптанной земли, которую оставляли за собой отступавшие скифы, постепенно суживалась. Вначале она была необозрима, потом немногим превосходила ширину Босфора, а незадолго до пожара уменьшилась до ширины Борисфена. Ариарамн объяснял это тем, что скифы перестроились и идут длинной колонной, но Агелай думал другое:

— Мы преследуем не войско, а кучу бродяг.

Теперь, когда прошли полосу смерти, нигде не находили признаков скифского войска. Оно растаяло, растворилось в пространстве, ушло в землю. Некого стало преследовать. Персы были в смущении. Бесцельность продолжения похода, по словам Фарнаспа, стала ясной даже ослам и мулам. Казалось и сам Дарий ждет достойного повода, чтобы остановить дальнейшее продвижение. Но никто не решался сказать слова. Войско попрежнему, шаг за шагом покоряло унылую бесконечную степь.

Ослепительно сверкнула меловая гора, к которой Дария потянуло, как к солнцу. Он приблизился к ней во главе всего двора, окруженный бессмертными. Тогда оказалось, что гора стоит на берегу большой реки, протекавшей внизу, под крутыми склонами. Никто этого не ожидал, даже Агелай. Простершись перед Дарием, он воскликнул:

— Владыка, ты превзошел славою всех царей! Ты сам не знаешь величия своего подвига. Перед тобой Танаис — последняя из скифских рек. Здесь кончаются Скифия и Европа — начинается Азия. Кто достигал этих пределов? Чьи дерзания сравнятся с твоими? Ты победил. Ты прошел Скифию из конца в конец и исполнил всё, что боги вложили в сердце тебе.

Царь благосклонно выслушал горбуна и долго стоял над Танаисом.

С высоты четырех человеческих ростов на него зияла пасть пещеры. К ней прорубили ступени и царь поднялся по меловому склону. Пещеру наполняли кости. Чудовищные ребра и черепа выступали из мрака попеременно с позвонками, похожими на мельничные жернова. Из невиданных челюстей торчали зубы, как у бороны.

— Что это?

Дария поразили бивни, поднимавшиеся из хаоса остовов. Они напоминали согнутые древесные стволы, истоющая мысль в догадках о звере, которому могли принадлежать.

— Это кости чудовищ, выходящих из мрака, окружающего Скифию, — сказал Агелай.

Дарий был бледен. На лбу проступил пот. Он уединился в носилках, а утром приказал начать сооружение стены. Ее строили из глины, песка и извести. Глину месили в больших ямах и из нее делали кирпичи, похожие на громадные блоки. Стена вырастала в несколько сот шагов длиной и в пять человеческих ростов. Когда ее закончили, Дарий велел высечь на ней свое изображение и надпись:

«Милостью Агура-Мазды, Я, Дарий Ахеменид, царь царей, сын Гистаспа, опустил стопы своих ног в пределы солнца и тьмы, в рубежи Европы и Азии. Я смирил Истр, Тирас и Гипанис, покорил Борисфен и поправ все малые скифские реки. Скунку, царя скифов, пленил и заковал в железо. Скифы бежали от моего гнева и ни разу не смели оглянуться и увидеть грозу моего лица. Я прошел все земли царственных скифов, разорил, пленил и сжег земли агафирсов, невров, гелонов, алазонов, борисфенитов. Я обратил в добычу их стада, жен и детей. Я забрал от аримаспов всё золото, похищенное у грифонов. Я видел счастливых гипербореев и познал их тайны. Путь янтаря и путь золота открылись передо мной. Вся Скифия вытоптана копытами моих коней и наполнена звоном моего оружия. И вот передо мной не стало бегущих врагов. Я дошел до рубежа тьмы и загнал во мрак свирепых чудовищ. Я совершил недоступное смертным. Я утвердил свое могущество на концах вселенной».

Войско ликовало. Никто не объявлял, что оно идет назад, но все об этом знали. Знали, что в своем движении обойдут выжженное пространство и вытоптанную полосу, лишенную всего живого. Находившиеся в постоянном страхе и тяжелых предчувствиях люди сбрасывали давивший их гнет и поднимали опущенные головы. Воздвижением стены и надписью на ней Дарий заканчивал войну.

Местность пошла неровная, часто попадались холмы и овраги, поросшие кустарником и мелким лесом. Идти стало труднее, но всё преодолевалось с легкостью и воодушевлением. Даже пустынность степи и отсутствие врага, угнетавшие прежде, теперь не пугали. Все уверовали в благополучное возвращение.

Кончалось лето. Тучи, вначале белые, стали свинцовые. По полю покатались, подпрыгивая, шарообразные веники сухой травы. Их гнало и крутило, как морские волны.

В один из таких ветреных дней увидели всадника, несшего на конце копья что-то темное, похожее на голову. Подлетев к передним рядам, он опустил ношу на землю и поскакал назад, что было силы. Дарию принесли предмет, брошенный скифом. Это был кожаный мешок. В нем лежали мертвые мышь, лягушка и птица, а также пять стрел с зеленоватыми наконечниками, напитанными змеиным ядом. Царь был оскорблен, рассержен и хотел покарать слуг, принесших скифский подарок, но Гобриаз, его тесть, высказал догадку: не послание ли это, заключающее в себе тайный смысл? Тогда Дарий бросил ему мешок и приказал разгадать. Гобриаз смутился, но дал свое толкование.

— Это признание скифами твоей власти над ними, — сказал он. — Они дают тебе землю и воду, свидетельством чему служат мышь и *лягушка*; они дают своих коней, образ которых представлен птицей, а присоединением стрел полагают на службу тебе свое оружие.

Дарий был доволен.

Воистину, это так!

Но его одолели сомнения. Зачем посланный убежал? И почему такое дело поручено простому гонцу, а не пышному посольству?..

Взгляд его пробежал по окружающим и заметил хмурое лицо Агелая.

— А ты?

Агелай просил не допрашивать, потому что, по его мнению, это послание дерзкое и заключает оскорбительный для царя смысл.

Дарий настаивал. Тогда горбун сказал:

— Тебя предупреждают, что если персы не смогут быть, как мыши, и не спрячутся в землю, если они, как лягушки, не уйдут в воду или, как птицы, не поднимутся в воздух — то все падут от скифских стрел.

Крики негодования заглушили конец речи. Агелая хотели побить на глазах у царя, так что Дарию с трудом удалось восстановить порядок. Он и сам был в страшном гневе, но грек своим умом успел приобрести над ним необычайную власть. Он отпустил его, не сделав ничего худого.

IV

Через три дня войско расположилось на ночь перед холмистой грядой, похожей на ящера, уснувшего в степи. В то время, как долина уже подернулась сумраком, возвышенность продолжала светиться медным блеском, разливая тихую торжественность. Гребень холмистой цепи внезапно зашевелился. На нем, как на хребте дракона, выросли клиновидные отростки.

Утомленный дневным переходом, Дарий покоился в закрытых носилках. Чья-то рука дерзко отдернула занавес. Царь обернулся и остался недвижим. По склону возвышенности, как тесто из квашни, густо стекала лава конного войска. Несмотря на дальность расстояния, Дарий различал отдельных всадников, похожих на игрушки из обожженной глины. Видел, как их маленькие лошадки бодро перебирали ногами.

Спускаясь к подножию склона, всадники точно ух-дили в землю, а сверху, выпираемые неведомой силой, валили новые массы.

Как перед смертью, Дарию припомнилась вся его жизнь. Зачем он тут, в этой глуши? И как это случилось? Страшные молнии прозрения осветили мозг.

Черная рать текла с вершины холмов, не прерываясь ни на минуту, пока с последним лучом заката не потонула в сумерках.

На персидский стан навалилась глыба молчания. Шаги судьбы глухо отдавались в сердцах.

— Не вы ли жаловались на неуловимость врага, на то, что потеряли надежду его увидеть? — говорили предводители, — что же смутились теперь, когда он, наконец, появился? Ликуйте! Теперь он наш! Одна битва и ваши скитания кончатся. Скоро увидите жен и детей.

Полагали, что скифы сразу же покажутся в долине, поэтому все взяли за оружие. Но никто не появлялся.

В шатре Дария толпились полководцы. Когда вошел Агелай, его стали толкать и не допустили до царя.

— В твоей хитрости теперь нет нужды, костлявая лягушка, здесь речь идет о битве и ты не должен оскорблять своим присутствием совета мужей войны.

Наутро, чуть забрезжил рассвет, войско начало строиться с шумом и толкотней. Численность персов, несмотря на потери, была еще столь значительна, что когда Ариарамн выехал перед фронтом, он удивился его протяжению. С правого крыла с трудом можно было различить людей, стоявших на левом. Он особенно порадовался блестящему виду колесниц, столь близких сердцу царя. Сильно уменьшившиеся в числе, они всё еще представляли грозное зрелище. Прикрепленные к колесам стальные косы делали их похожими на птиц, раскинувших сверкающие крылья. Такие же косы, направленные остриями книзу, приделаны были к задним частям колесниц. Что могло устоять против этих изрезающих в куски и брызжащих стрелами телег? Но и конница выглядела бодро, а за нею вздымалась густая поросль копий воинов, сидевших на верблюдах.

Ариарамн думал увидеть сонмы оборванцев, лишенных воинского обличья, а перед ним стояла рать не хуже той, с которой Кир сокрушал народы, с которой Камбиз завоевал страну пирамид и с которой Дарий уничтожил многочисленных врагов. Он явился к царю со светлым лицом и распространил на всех веру в победу. Волна бодрости, зародившаяся в царском шатре, прокатилась по всей войску.

Полководцы не сомневались, что полчища врага находятся близко, скрытые складками местности. Но время шло. Стоя перед пустынным полем, персы раздумывали: не ложное ли видение послал Ариман, чтобы всколебать их дух? Разгорался простой степной день, не предвещавший никакого события. Тогда, взбешенный молчанием скифов, Дарий велел Мифробарзану с тысячей всадников двинуться к подножию склонов, с которых вчера спустился враг. Мифробарзан не успел исполнить повеления. Гул восклицаний возвестил о появлении скифов.

Припав к гривам лошадок и помахивая чем-то вроде бичей, они мчались, как ветер. Только это было не войско, а кучка в сотню человек. Персы с удивлением следили за их приближением. Не верилось, чтобы ничтожная горсть осмелилась напасть на царское войско. Дальнозоркие парфяне заметили черные точки, прыгавшие перед скифами.

— Зайцы! Зайцы!

Услышав шум, зайцы присели на расстоянии двух полетов стрелы от персов, потом сорвались и поскакали в сторону. Скифы с гиком и свистом полетели за ними вдоль персидского строя. Ни щитов, ни копий, только арканы у пояса да в руках длинные ремни с темными шариками на концах, которыми они помахивали в воздухе.

— Это самое диковинное, что мне пришлось видеть за все мои походы, — сказал Мифробарзан. Он хотел начать преследование, но Ариарамн — остановил. Пускать воинов против этой своры?.. Собак на них натравить! Рабов заставить побить их палками!..

Из рядов долетели насмешки и хохот. Какого достойного противника нашел себе царь царей! Теперь понятно, почему мы не видим в глаза неприятеля, ему некогда воевать с нами, он должен охотиться! Поднялось негодование, брань.

Будь проклят этот безумный поход! Ни одно войско в мире не испытало столько унижений. Сегодняшнее — самое горшее.

Тогда, совсем близко, как из-под земли, возникло бесчисленное воинство на конях. Персы узнали в нем вчерашнюю лавину и, как вчера, притихли и затаили дыхание.

Старые воины Дария, бывавшие во многих походах, умели по первому виду врага догадываться об исходе битвы. Неторопливость скифов поселила в них тревогу. Она возросла и охватила всё войско, когда выяснилось, что скифская громада идет против одного только правого крыла персов. Варвары сумели так замаскировать свое движение, что смысл его открылся, когда они были уже у цели и когда большая часть персов почувствовала себя праздными зрителями того, что совершалось на правом крыле.

Там стояли колесницы, готовые предупредить удар встречным нападением, и Ариарамну стоило большого труда сдерживать их порыв. Он хотел подпустить противника на расстояние, удобное для внезапного удара. Но произошло неожиданное. Из скифских рядов вылетели наездники, наводившие трепет своим видом. Усатые, рогатые кони с глазами, обведенными белой, синей и красной красками, походили на драконов. Конники, одетые в бараньи шубы, вывернутые мехом наружу, с огромными башнями на головах, дули в костяные трубочки, производившие сверлящий звук, били в медные котлы, раздирали слух звуком трещоток. На концах длинных шестов и копий пылали пучки травы и тряпок. Лошади, запряженные в колесницы, поднялись на дыбы, потом повернувшись назад, устремились на свою пехоту. Боясь быть смятым, пешее войско выставило копья, и колесницы шумным роем помчались вдоль фронта. Ариарамн бросился наперерез, пытаясь остановить, но был опрокинут и над ним пронеслась вся бряцающая и гремющая армада. Когда она схлынула, от полководца не осталось следа. Гроза сражений, бесстрашный Ариарамн был изрезан на части, растоптан и вдавлен в землю колесами, носившими его когда-то к победе. Выведенные из строя до начала сражения колесницы обнажили пешее войско. На него бешено ринулись скифы. Они мчались с пронзительным визгом, напоминающим вой ветра в трубе. Чтобы выдержать натиск, персы втыкали древки копий в землю, стараясь направить острие в грудь коням. Но скифы, не доходя до линии, круто повернули и поскакали вдоль персидского строя, поливая его дождем стрел. Стреляли с невиданной ловкостью и быстротой. В то время, как четыре стрелы еще висели в воздухе, пятая уже срывалась с тетивы. Персы захлебывались кровью от смертоносного ливня.

За первой волной катилась другая, всё с тем же зловещим воем. Эти потрясали красными древками копий и дротиков, сверкали бронзовыми и золотыми бляхами с изображением зверей, украшавшими седла, уздечки и самую одежду скифов. Персы дрогнули, попятились и щетина их копий, страшная для скифских коней, заколебалось. В следующее мгновение всё смешалось в водовороте человеческих и конских тел. Навалившись горой, скифы ломали правое крыло царской рати. Полководцев теперь занимала мысль: удастся ли Дарию повернуть свой необозримый строй и ввести в сражение бездействовавшие войска прежде, чем решится участь правого крыла. Приказы царя шли медленно из-за необычайной длины фронта. Не дожидаясь их, отдельные полки стали поступать по собственному усмотрению. Видя катящийся справа скифский вал, пафлагонская конница, сверкая медными пластинами, прикрывавшими грудь, голову и шею коней, сорвалась с места. За ней последовали ассирийцы, парфяне, потом в бой ввязались верблюды. Остальные, кто как мог, спешили к месту сечи.

Персы никогда не знали военного строя, их отряды были просто вооруженными толпами, но у каждой толпы были знамена и предводители, сплывавшие бойцов во время сражения. Это позволяло хоть немного управлять битвой. Теперь всё смешалось. Валили густой ордой и, сбившись на небольшом пространстве, кричали и толкались, не будучи в состоянии развернуться. Слонов отвели в тыл, боясь, как бы они не потоптали собственное

войско. Долгое время нельзя было понять смысла происходящего.

Хотя персы, не выдержав скифского натиска, отступали, но не могли убежать из-за давки и страшного скопления народа. Степнякам не прорубиться было сквозь их толщу. Тогда они отхлынули, как море от берега, и обнажили построившихся в тылу сарматов, одетых в кольчуги и в спущенные на лица железные шлемы с решётками.

Тем временем, с левого крыла шли на помощь персам густые ряды пешего войска, подгоняемого биченосцами. Дарий неистовствовал, требуя, чтобы оно шло быстрее, но ему уже трудно было управлять сражением; лучшие его полководцы погибли. Пали Мифробарзан, Абрак и Адромелах, растоптаны своими же конями Патиагиас и Артапат. Пехота была еще далеко, когда персы, едва успевшие перевести дух от скифского натиска, увидели надвигающуюся стену красных сарматских щитов. За сарматами шли тавры, тореты, гениохи, пешие меланхлены, андрофаги, аорсы и негры. Дарию не видно было сражения, хотя он стоял на высокой колеснице. Он различал только ряды охранявших его бессмертных, похожих на молящихся в огромном храме, глубина которого тонула в жертвенном дыму. Там, как заросли камыша, качались копья. Дарию виделась клубящаяся пылью дорога перед Вавилоном, пестрый базар, давка возле колодца в пустыне. Когда в бой вступили верблюды, это походило на замешательство у городских ворот, неспособных пропустить сразу огромного каравана. Центр битвы угадывался по самому черному клубу пыли. Там о чем-то настойчиво твердили глиняные барабаны, разрывались трубы и воплем ужаса заливались костяные рожки.

Победа не давалась персам. Ее, как каменный колосс, влекомый на постройку храма, не могли сдвинуть с места, несмотря на усилия многих тысяч рабов. Чутьем опытного полководца царь понял, что настал момент казнить несколько военачальников. Но пока он раздумывал, произошло что-то значительное — точно рухнул большой дом, покрыв всё кругом облаком пыли. Царь потребовал узнать, что случилось, но к нему уже бежал Фарнасп с рассеченным лицом.

— Спасайся, великий царь! Всё погибло!

Четыре телохранителя, по знаку царя, тотчас прокололи его копьями. Дарий велел высоко поднять себя, чтобы быть видным войску. Но войска бежали, опрокинутые и распыленные сарматским тараном.

Скифы приближались к месту пребывания царя. Путь им преградила цепь мардиев, моссинеков и фаманейцев, изрубленная в одно мгновение. Тогда открылось свободное пространство и скифы остановились в восхищении. Там, в разноцветных, богато расшитых одеждах, с золотыми обручами на головах и с золотыми яблоками на копьях стояли бессмертные. От них исходил нежный звон. То бряцали маленькие колокольчики, подвешенные к краям щитов. Варвары загляделись на красивое войско и боевой их пыл пропал. Они только постреляли в бессмертных из луков, не причинив им вреда. Тем временем подошла пехота левого крыла.

Но вспыхнувшая с новой силой битва продолжалась не долго. Персы вдруг начали бросать оружие и с искаженными от ужаса лицами бежали, куда попало. На них, зияя запекшимися впадинами глаз, неслась слепая рать Скунки. Равнина покрылась бегущими. Даже те, что не успели вступить в бой и находились далеко в стороне, побежали. Степняками овладела радость истребления. Они наступали плотной массой и прошло много времени, прежде чем смогли развернуться и взять врага в уничтожающий полукруг. Когда это произошло, персидские трупы стали громоздиться горами.

Тогда над долиной пронесся скребущий за душу крик, заглушивший шум битвы. Скифские кони взвились и шарахнулись назад. Шерсть на них поднялась дыбом. Их с трудом обуздали и заставили возобновить погоню. Но только успели настигнуть добычу, кони опять на всем скаку повернули обратно, заслышав ужасный крик.

Ревели ослы. Агелай собрал их вместе и велел нещадно бить палками. Об их рев, как о невидимые скалы, разбивались скифские волны. Тем временем персы достигли обоза и образовали защитный вал из повозок. Сюда, как овцы в загородку, сбегались обезумевшие

войска. Натиск степняков прекратился.

V

Весь остаток дня и всю ночь в персидском стане копали землю и что-то сооружали. Скифы полагали, что воздвигается земляной вал и были очень веселы, предвкушая легкий конец войны — смерть врага от голода в собственном укреплении. Но когда они наутро саранчей двинулись на вражеский стан, перед ними возникли гигантские башни, насчитывавшие каждая добрую сотню шагов в поперечнике. Их остовы, сколоченные из ломаных копий, оглобель, обломков колесниц, перевитых возжами, обрывками ремней и тряпок, облеплены были землей, глиной, обложены дерном. Над ними кружились птицы, а на одной сидел коршун, пожирая черный кусок печени. Персы ушли и, казалось, унесли с собой убитых. Ни одного трупа, напоминающего о вчерашнем побоище.

Скифы кружились вокруг башен на расстоянии полета стрелы, боясь подойти ближе. Показался Никодем, встреченный громкими криками. Он сверкал копьем, латами, шлемом и взор его светился счастьем вчерашней победы. Многие видели, как он, в самый разгар преследования персов, сошел с коня и, встав на колени, воздел руки к небу. Знали также, что накануне битвы не спал всю ночь, склоненный перед маленькой белой статуей — единственной, оставшейся от всех его богатств. Варвары суеверно чтили его, видя в нем чудесного посланца и вестника побед. Но особенно полюбили за склонность к скифским обычаям. Он научился пить кобылье молоко, ездить по-скифски, припав к луке, даже есть вяленое конское мясо, размягченное под седлом во время езды. Он долго не мог привыкнуть к нему, выплевывая смрадные от пота и грязи куски, но преодолел и это.

Он смело устремился к одной из башен и вошел в тесное, едва заметное отверстие. Темный проход вывел на маленькую площадку в самой середине цирка. От нее горой поднимались трупы, громоздясь вровень с верхом стены. Никодем увидел себя на дне кратера, образованного из мертвых тел. Еще в бытность свою в Сузах видел такие башни молчания, куда персы сносили покойников. Их нельзя было предавать ни земле, ни воде, ни огню, ни воздуху, их пожирали голодные грифы. Никодем с содроганием вспомнил этих больших белоголовых птиц, сотнями сидевших по круглым стенам и умевших в несколько минут оставлять от покойника одни кости. Скифские вороны ограничивались тем, что выклевывали у мертвецов глаза.

В башне стоял запах тлена, туманивший мозг и сжимавший сердце.

Открыв скифам тайну башен, Никодем уговаривал Иданфирса как можно скорее покинуть их и начать преследование неприятеля, но степных воителей не легко было оторвать от диковинного зрелища, каждый хотел побывать внутри.

Полдня прошло, прежде чем двинулись вслед врагу.

Не успел Никодем добиться выступления последних остатков степняков, как пришло известие о новом препятствии. Наткнулись на большие клетки, расставленные в поле. Из них выходили громадные рыжие собаки с дремучими мордами, с гривами. Они зевали, шурились, лениво разбредались по полю. Скифы пришли в восторг, когда одна из них, самая большая, легши на землю, величественно подняла голову. Думая, что их снова загоняют в клетки, звери ворчливо, но покорно вернулись, легли и только, когда скифы подошли совсем близко, стремительно выскочили вон. За долгое странствие они привыкли к своим клеткам и теперь, оттесненные вражеским напором, почувствовали себя бездомными и гонимыми. Нагнав морды до земли, они потрясли степь рычанием.

Никодем помчался, что было силы, но приехав, застал страшную свалку. Навстречу бежали окровавленные, изуродованные люди, лошади с волочившимися по земле внутренностями. Над равниной стоял остервенелый вой. Когда улеглось смятение, открылись мертвые туши львов со множеством вонзившихся в них стрел и копий, а в пыли извивались и стонали скифы.

Только на другой день увидели персидскую громаду. Она оставляла широкий след из

сломанных повозок, сдохших коней, мулов и сотен раненых. Персы шли со скоростью, поразившей Никодема и Иданфирса. Они отвезли далеко от дороги царскую трубу и оставили сверкать в степи. Иданфирс не в силах был удержать варваров, устремившихся на блестящий предмет, как бабочки на огонь. Он и сам был очарован чудесным сооружением, рассматривая каждый завиток, каждую выпуклость на трубе. Когда же научились в нее дуть и исторгать громоподобный рокочущий звук — варвары пришли в шумный восторг. Сам царь с наслаждением дул, повергая в смятение своих серых лошадок. Только когда Никодем упал перед ним на колени, умоляя начать преследование, Иданфирс опомнился.

Персов вел Агелай. Дарий, узнав, что его рать спасена от истребления хитроумной выдумкой грека, призвал его и велел всем исполнять его приказания. Горбун уничтожил прежде всего обоз. Медлительных волов зарезал на мясо, большую часть грузов роздал воинам, а из повозок оставил только самые быстроходные. В них запрягли коней.

Агелай знал, что царское войско не годится для битвы, но хотел сохранить за ним способность обороняться на ходу от наседавшего противника.

После случая со львами, скифы стали осторожнее в своих нападениях и в своей стремительности. Когда они снова настигли персов и учинили жестокий нажим, Агелай выпустил слонов, вида которых не выносили степные лошади. В другой раз отпугнул ослиным ревом. В то же время он со страшной скоростью гнал свое войско, не считаясь с потерями. Больные бросались без сожаления, грузы и отбившиеся животные оставлялись в добычу скифам. От его рати, как от камня, пущенного с вершины горы, отлетали осколки, он крошился, но скорость его возрастала с каждым днем. Искусно лавируя и пользуясь всеми средствами, Агелай постоянно держал скифов позади себя, не давая зайти спереди и отрезать путь.

Никодем начал опасаться за успех преследования. Он часто мрачнел при мысли, что враг уйдет от заслуженной кары. Самым сильным препятствием к уничтожению персидского войска были слоны. Против этих движущихся храмин скифы ничего не могли поделать и каждый раз отступали, давая время персам уйти. Их кони боялись одного только трубного звука слонов, похожего на дребезжание костяного рога. Иданфирс пробовал, по совету Никодема, выставлять против слонов пеших копейщиков и медленным отступлением заманивать чудовищ к заранее приготовленным и укрытым ямам. Но Агелай каждый раз проникал в их замыслы и умел во время уклониться от западни. Тогда Никодем вспомнил про Сиберию.

VI

Была глухая ночь, когда слоны, прикованные каждый за правую переднюю и левую заднюю ногу к толстым железным крюкам, вбитым в землю, спокойно поводили огромными ушами, улавливавшими тончайшие звуки на несколько фарсангов в окружности. Тьма этой ночи напоминала им лесистую родину. Тот же влажный воздух, ласкавший полости хоботов, те же вздохи и шорохи, доносившиеся издалека.

Тонкий, как писк комара, звук: Тут! Тут! — прорезал темноту.

Звери встрепнулись. Уши задвигались, как паруса.

Далеко в степи трубил призывно и сладко неведомый слон.

Звук повторился. Чудовища стали с шумом втягивать и выпускать воздух. Цепи на ногах беспокойно зазвенели. Спавшие мертвым сном водители не слышали, как тяжелые крюки один за другим вырывались из земли.

Тут! Тут!

Слоны ответили дружным хором. Они с громом устремились в степь, давя по дороге спящих персов. Волочившееся по земле железо сбивало ноги до крови, но звери ничего не замечали, упоенные призывом, доносившимся с полей.

Когда прибыл Агелай, он услышал удаляющийся топот и ликующие трубные звуки. Уходила последняя надежда персов.

Утром хлынули скифы и, хотя горбун по обыкновению обманул их, подняв свое войско задолго до их появления, тем не менее персы потеряли в этот день больше, чем в битве у роковых холмов. Многие из них сами избрали жребий. Когда их разбудили чуть свет, они скрипели зубами, проклинали ненавистного грека и, завернувшись в плащи, снова ложились, невзирая на брань и побои. Они блаженно проспали до солнца, когда были разбужены криками врага, приближавшегося необозримым полукругом. Всё усталое и медлительное было уничтожено в этот день. Кто отставал от войска или оказывался в стороне — становился добычей скифской ярости. Агелай почти не сопротивлялся. Его искусство сводилось к отбору и пожертвованию, в своем войске, самого худшего. Он отводил опасность тем, что выбрасывал на съедение степнякам то одну, то другую кучу измотанных людей. И он выиграл. Скифы утомились избиением раньше, чем у него иссякли запасы бесполезных оборванцев. Натиск прекратился задолго до захода солнца и несколько часов персы шли в полном спокойствии.

VII

На привалах грек запрещал зажигать огни, но в эту ночь велел разложить множество костров, охватив ими громадное пространство. Потом облекся в чистую одежду, надел петлю на шею и, придя к царю, простерся в прахе.

Дарий понял.

После длительного молчания он спросил:

— Когда?

— Сегодня, — простонал грек.

Позвали военачальников и сказали, что надо делать.

Пока пешее войско разводило костры и укладывалось спать, коней, верблюдов, мулов выводили на окраину лагеря. Туда же отправили бессмертных. В полночь Дарий бросил свое войско и бежал с тем количеством людей, которое можно было посадить на коней и верблюдов.

Скифы привыкли видеть по утрам опустевшие персидские стоянки и следы поспешного бегства. Но на этот раз, за стелющимся дымом, встал, как видение, причудливый город палаток — тряпичный Вавилон, сверкавший золотом и материями. По мере их приближения, точно корабль из моря, вырастала и проясняла свои очертания Ападана — царский шатер, горевший на солнце драгоценной чешуей. Слышались плач и вопли. Пестрое скопище народа стояло на коленях, с мольбой простирая руки навстречу скифам.

Никодем, предвидевший в это утро последний уничтожающий штурм, был в недоумении и растерянно смотрел, как скифы муравьями рассыпались по лагерю.

Воинов Дария ободрали догола. Серьги из ушей выдирались с мясом, а блестящие браслеты, если их трудно было снять, отрубались вместе с руками. С особенной жадностью набросились на оружие, вступая из-за него в драку друг с другом. Мечи часто пробовали на пленниках, срубая с деловым видом их длинноволосые головы. Из палаток вытаскивали всё, вплоть до мелкого скарба, а потом раздирали в лоскутья и самые палатки. Слух о сушеных плодах и финиках вызвал волнение. Каждый хотел получить хоть кусочек чудесного лакомства и те, которым ничего не досталось, были в отчаянии.

Настоящая давка стояла возле шатров вельмож. Они казались приготовленными к принятию гостей. Мягкие тахты, опахала из павлиньих перьев с золотыми ручками, амфоры с вином, дорогие чаши, яства, разложенные на серебряных блюдах. Но всех превосходил роскошью царский шатер. Он держался на столбах из черного дерева, украшенных слоновой костью, с широкими подножиями, отлитыми из серебра. Из серебра же были крючки, державшие шесты, обложенные золотом, на которых висели завесы и покрывала из виссона, богато украшенные шитьем. На это покрытие возлагалось другое, сшитое из мягких овечьих шкур. Самое верхнее, наружное, состояло из плотной, темно красной ткани, расшитой зверями и крылатыми чудовищами. Ее, как сеть, оплетали золотые шнуры с пышными

кистями.

В шатре на золоченых кольцах и жердочках красовались одежды, прыгали обезьяны, кричали павлины и попугаи. Снедь и вина сверкали в сосудах, которых не бывает и на пиру богов. У черных столбов, прикованные, стояли обнаженные наложницы Дария. Одну из них варвар тихонько кольнул мечом в грудь. До каждого предмета скифы дотрагивались робко, со страхом. Но осмотрев всё, — побывав в самых сокровенных уголках Ападаны, они сделались смелее, стали сдирать ткани, подушки, тигровые шкуры и расстилать по полу. Яства со столов сняли, а самые столы выбросили вон. Потом, рассевшись в порядке старшинства и доблести, открыли долгое пиршество.

— Подложи скорей огонь под шатер, сожги этот обман! — умолял Никодем. — Неужели ты не видишь лукавства? Враг бросил эти погремушки, чтобы ты, как ребенок, увлекся и забыл о преследовании.

Иданфирс знал, что эллин говорит правду, но знал также скифов и не решался нарушить их торжество. Уже раздались песни, грохот барабанов и свирели. Стреляли в попугаев и обезьян, потом мишенью стали служить голые рабыни и пленники. Пленников приводили толпами, бросали в них копья. Уцелевшим скручивали руки назад, надевали веревки на шею и длинными вереницами отправляли в глубь степей. Оттуда надвигались кибитки, стада, женщины, старики, дети. Они потрясали кулаками, осыпали персов камнями и бранью.

VIII

Оврагами, звериными тропами, пугливо озираясь по сторонам, бежал повелитель мира. Каждая река, через которую переправлялся, брала с него тяжелую дань людьми и конями. Кони от непрерывной езды худели и падали. Вместе с конем обрекался всадник. Даже более выносливые верблюды изнемогали. Их гнали без отдыха, без кормежки. Горбы, вначале упругие и крепкие, стали быстро увядать, повисли тряпками. Худые, как ощипанные птицы, они вызывали содрогание страшными ранами, открывшимися на хребтах. Во время коротких остановок вороны разклеивали раны до костей, и когда верблюд поворачивал шею, норовили выклевать ему глаза.

Волки, лисицы, степные орлы бежали следом за Дарием, холодный ветер рвал его царскую одежду, а он мчался, поглощенный мыслью — достигнуть Истра прежде, чем покажутся скифы.

Курган

I

С того дня, как последние повозки царского войска скрылись в степи, греки и финикийцы остались одни со своими кораблями. Оба берега Истра, вытоптанные и превращенные в черное месиво, зловеще зияли, как после пожара, а за рекой уходила вдаль широкая ложина песков, похожая на рану от удара мечом. Ветры долго устилали палубы слоем песка и чернозема. Потом прошел дождик, прибил пыль, вымыл и освежил просторы. Оголенный чернозем покрылся понемногу новой зеленью, но она возшла поздно и наступившая жара сожгла ее вместе со всей степью. Пески же так и остались обнаженными. Только в самый разгар летнего зноя на них показались уродливыми скелетами редкие сухие колючки — пришельцы жарких стран, занесенные с обозной кладью и одеждами воинов.

Каждый день Гистий развязывал по узлу на ремне, оставленном Дарием, и когда узлов осталось немного, тиран стал впадать в глубокую задумчивость. Начались разговоры о гибели царя. Гистию доносили, что многие этому радуются. Пришло время развязать

последний узел. Гистий созвал тиранов и спросил, что делать дальше?

Мильтиад посоветовал исполнить царский приказ — плыть домой; и некоторые с ним согласились. Но большинство захотело ждать вестей о судьбе Дария.

Потянулись дни, полные тревоги. Каждый думал свое, но все знали, что там, за синюющими далями, решается судьба мира.

Небо нахмурилось, начались ветры, тихо струившийся Истр стал холодным и зашумел.

Однажды с предмостных башен заметили темный предмет вдали. Он приближался по бурой песчаной дороге, привлекая к себе внимание всего флота. Различили торчащие уши, ослабленную пасть. Это был волк. Не доходя до башен, он сел и, подняв морду, залился ужасным воем.

— Это весть! Недобрая весть! — заговорили на кораблях.

Теперь все были уверены, что с царем произошло несчастье.

Воины стали оказывать неповиновение триерархам и кричали в лицо тиранам:

— Свобода! Свобода! Трусливые властители! Доколе вы будете не верить собственному счастью?

Требовали немедленного возвращения домой.

Так прошло еще несколько хмурых бессолнечных дней. Тучи густо заволокли небо, а равнина покрылась катящимися волнами сухой травы.

Показалась толпа наездников. Она надвигалась так быстро, что едва успела отгнать тревога, едва людей изготовили к бою, как скифы подошли к предмостным башням. Один из них выехал вперед, распахнул плащ и из-под него блеснули медные латы. Приблизившись, он громко спросил стражу — здесь ли Мильтиад? Но Миль-тиад сам уже спешил навстречу и они обнялись на виду у обеих войск. Среди греков, еще на Босфоре, ходило много толков о Никодеме. Имя его обросло легендой, но никто не знал ни тогдашних его намерений, ни дальнейшей судьбы. Появление его здесь, в степях, во главе скифского отряда, вызвало смятение умов. Каждый спешил хоть мельком взглянуть на чудесного милетянина. Когда же узнали, что он привез известие о судьбе Дария, это сопровождалось возгласами и рукоплесканиями. Не успел Мильтиад переправить его к себе на триэру, как уже весь флот знал, что царского войска больше не существует, а сам Дарий едва ли успеет избежать плена.

Греки обнимались, поздравляли друг друга с освобождением от варварского гнета. Стали сбивать с моста крылатые царские знамена и бросать в воду. Известие, что Никодем, пожертвовав своими богатствами, проник в степи и там боролся в скифских рядах против угнетателя отчизны, сделалось поводом для новых ликований. Крикам «Слава великому Никодему!» — не было конца. Корабль Мильтиада не мог вместить всех желавших посмотреть на него. Туда прибыли тираны, триерархи, видные люди. Один Гистий не пошел.

— И ты не побоялся с горстью скифов приблизиться к нам — верным слугам царя царей — твоим врагам? — спросил Мильтиад.

— Верных слуг имеют только сильные цари. Ваш же повелитель ныне — ничтожнейшая из тварей, обитающих в степи. Он еще жив, но уже обречен и не сегодня-завтра, преследуемый скифами, прибежит сюда с кучкой своих приспешников. Тогда выяснится, удалось ли ему окончательно превратить вас в рабов или в вас живет еще гордость и достоинство эллинов? От вас зависит, успеет ли вчерашний повелитель перейти Истр или останется добычей скифов? Хотите ли, тираны; стать независимыми властителями ваших городов и земель? Ваш жребий в ваших руках! Будьте достойны великого мига, ниспосланного богами! Снимите мост!..

В войске шли возбужденные толки. Люди собирались кучками и готовы были начать разборку моста. Но тираны пребывали в смущении. Ошеломляющее известие застало их врасплох. Один Мильтиад всей душой откликнулся на призыв к освобождению, он превозносил труды, доблесть, благородное сердце Никодема, его святое горение за Элладу и уговаривал тиранов согласиться на предложение своего великого друга.

Но Гистий, неослабно следивший за всем, что происходило, тайно, по одному, собрал

к себе тиранов, за исключением Мильтиада и тех, что ему сочувствовали. Он удалил с триэры рабов и стражу, завел тиранов в самый глухой угол трюма и там, в полутьме, почти топотом произнес свою речь:

— Скажите мне, вожди, кто из разумных людей прорубает дно лодки, на которой плывет? Кто у колесницы, на которой он едет, сокрушает колеса, засыпает колодец из которого пьет? Или вы думаете, что ваша власть зиждется на подлой бессмысленной черни, умеющей только реветь, подобно стаду ослов? Не думаете ли также, что опорой вашей являются евпатриды, взнузданные вами, ненавидящие вас и ждущие случая, чтобы вонзить нож из-за угла либо изгнать вас из родного города, как они изгнали Гиппия из Афин? Нет, вожди, кто знает цену власти, кто ее выстрадал, добыл потом и кровью, бессонными ночами, кто рисковал собственной жизнью и жизнью своих близких, тот не может не понять что, кроме царя, у нас нет опоры. Жизнь Дария в наших руках, но если мы дадим ему погибнуть, нам незачем возвращаться в свои города: там с нами сделают то же, что мы сделаем здесь с царем. Итак, выбирайте: поддадитесь ли на уговоры демагога, сеявшего всю жизнь смуту и достойного быть убитым, как собака, или внемлете голосу разума и упрочите вашу власть, сохранив ее для потомства?

Тираны были подавлены.

— Что нам делать, Гистий? Весь флот, от триэра-хов до последнего стрелка, приветствует Никодема. Люди ждут от нас смелого шага и, если мы не решимся, они, помимо нас, разберут мост. У нас нет выхода.

— Да, — согласился Гистий, — нам трудно противиться этому, но мы и не будем, мы сами начнем разбирать мост... Только бы удалить скифов и усыпить бдительность трижды проклятого Никодема.

Лицо Гистия исказилось при упоминании ненавистного имени и он не мог продолжать речь от охватившей его злобы.

II

Над Истром долго не смолкали восторженные крики, когда милетский тиран отдал приказ начать уничтожение моста. Он приказал также всё имущество и оружие снести на корабли, загнать рабов в трюмы и готовиться к отплытию. Весть о предстоящем возвращении домой встречена была еще более шумно.

К Гистию пришел Мильтиад и приветствовал за принятое решение. Он сказал, что Никодем восхищен его поступком и хочет примириться и возобновить дружбу.

— Теперь не время, — хмуро отвечал Гистий. — Никодем слишком долго враждовал со мной, чтобы мы могли так легко подать друг другу руки. Пусть сначала совершится задуманное... Если он хочет, чтобы всё шло хорошо, он должен отослать своих скифов к их царю с известием о нашем отъезде и о снятии моста. Он должен также сказать, что, решившись на такой поступок, мы ждем от скифов быстроты. Нам теперь нельзя, чтобы Дарий вернулся...

Никодем поспешил исполнить. Отослав скифов, он возвратился на триэру к Мильтиаду и предался беседе и мечтам об отчизне. Мильтиад смотрел на него, как на чудо. Ему казалось невозможным, чтобы одному человеку выпало на долю совершить так много и так благополучно. Он знал, что боги завистливы и не прощают смертным громких дел. За всякий великий подвиг неизбежна расплата. Никодему же удалось невозможное. Сверх того, богам угодно, чтобы он вернулся в Элладу и увидел родной Милет. Что помешает ему отплыть на любом из кораблей после того, как здесь, на берегу Истра, он увидит пленение того, кто именовал себя царем царей?

Но Никодем отклонил все похвалы.

— Из всего необыкновенного, что ты видишь в моем приключении, я готов признать только одно: жребий быть свидетелем крушения невиданной тирании, выпавший мне — единственному из эллинов. В остальном нет ни тени моей заслуги. Я был дитя, когда,

отправляясь к скифам, думал осчастливить их своим эллинским разумом и принести им победу. В этой стране всё совершается не разумно, не по-нашему, зато всё отмечено высшим разумом. Воля отдельных людей там бессильна, там хаос, но в нем же начало непонятого нам и неведомого порядка. Я был умнее каждого отдельного скифа, но вся скифская земля явила образ такой мудрости и духа, которых в нашем эллинском мире нет. Я счастлив, что моей поездкой туда руководила не эллинская рассудительность, а скифское безумие. Даром потерял богатства, потерпел неудачу в стремлении руководить варварами, но возвращаюсь счастливый и довольный. Я видел единственное и незабываемое — искусство побеждать, не сражаясь. И еще счастлив тем, что мое присутствие вселяло у скифов веру в свое дело.

До позднего вечера стучали молотки, скрипели блоки, суда отходили на середину реки и там со спущенными веслами ждали сигнала к отплытию. Возле моста остались только триэры Гистиэя. Рабы его сустились над разборкой.

Когда густая тьма спустилась на Истр, Гистиэй послал за Никодемом, чтобы поместить его на одном из своих судов, стоявших у самого моста. Оттуда он сможет видеть всё, что произойдет.

Огни потушили, так что на палубе, куда доставили Никодема, едва можно было различать людей и ближайшие предметы. Ни моста, ни берега, ни башен, ни даже самой воды не было видно. Никодем спросил про Гистиэя и ему сказали, что тиран находится на одном из судов поблизости.

— Я много виноват перед вашим господином. Я был слеп, заблуждался и только теперь увидел всё его величие. Но скажите ему, что в дружбе Никодем более постоянен, чем во вражде.

Дул ветер, шумел Истр.

Никодема вдруг охватило страстное желание, чтобы то, что должно произойти, совершилось сейчас. Боялся, что ненависть его иссякнет. Неужели он останется спокойным и не найдет силы для долгожданного торжества, когда на берегу появится тот, со следами страха и отчаяния на лице при виде крушения своей последней надежды?

Он остановился, стараясь услышать что-нибудь в степи, но ветер и волны заглушали все звуки. Уносился мыслью в непроглядную тьму, где шли скифские орды, настигая надменного беглеца. Никодем тревожился: он знал, что скифы идут тем же окольным путем, которым шел он сам. Они не допускают мысли, будто Дарий сможет отступить по лишенной растительности дороге, вытоптанной его полчищами в дни своего гордого нашествия на степь. Между тем, Никодем догадывался, что он бежит именно этой голой песчаной дорогой.

— Но всё равно ты не уйдешь от кары!

Потом пришла мысль, что погоня еще далеко и что этой ночью ничего не произойдет. Он сел, завернулся в плащ и всё возбуждение улеглось, сменившись усталостью. Под плеск воды, под неуловимый голос тьмы впал в то дремотное состояние, при котором собственные мысли трудно отличить от чужой речи. Кто-то долго говорил на непонятном языке, потом раздались всхлипывания, плач и он узнал, что плачет глинистый берег реки, потом надо всем простерлась безмолвная, всеобъемлющая пустота. Не помнил как долго просидел, только внезапно охватившая тревога заставила вскочить с места. Попрежнему стояла тьма, свистел ветер, но Никодему показалось, что во тьме что-то происходит. Слух, как прежде, ничего не улавливал. Только шумел Истр. Надрывно, тоскливо шумел... Это всё моя мятущаяся душа — подумал он, заворачиваясь снова в плащ.

В это время ясно долетел голос с берега. Он крикнул раз и другой. Никодем застыл, как статуя. Прошло несколько томительных мгновений и снова крик, на этот раз нескольких голосов. С кораблей им что-то ответили. Тогда донеслось несколько звонких слов, от которых у Никодема задрожали руки. На берегу стоял Дарий.

Прежде чем он смог овладеть собой, раздался звук трубы, подававшей сигнал к отплытию. На кораблях застучали барабаны, загремели цепями и веслами. Каждое судно теперь было занято самим собой. А на мосту забежали факелы, прикрытые глиняными

сосудами, и в их скудном свете, падавшем вниз на настил, Никодем увидел, что мост весь цел, разобрана лишь небольшая часть его у самого берега. Сюда с топотом бежала толпа рабов, на которую сыпались яростные бичи надсмотрщиков.

Никодем задохся от гнева. Эти бездельники обманули Гистиэя и, воспользовавшись наступлением вечера, прекратили разборку!

— Так их! Так их! — кричал он в такт ударам бичей.

Рабы засуетились с такой муравьиной поспешностью, так учащенно застучали молотками, что Никодем не разобрал сначала, что они делают. Был уверен, что продолжают разборку моста. Но скоро увидел переброшенные на берег бревна и поспешно настилаемые доски.

— Измена! Гистиэя обманули! Гистиэй! Гистиэй! Сквозь свист ветра долетел голос самого Гистиэя:

— Да живет царь царей!

Грубые руки схватили Никодема за плечи и над ухом кто-то прохрипел:

— Ты пойман! Ты пленник Гистиэя!

Он оттолкнул невидимого врага, схватился за меч, но множество других рук вцепились со всех сторон.

Кружась в отчаянной схватке, слышал торопливый топот по мосту, видел там время от времени скудные пятна света, мелькавшие в них верблюжьи и конские ноги, края одежд.

Дарий переходил Истр.

Как только мрак фракийского берега поглотил жалкую кучку людей, пугливо сидевших на верблюжьих горбах, — взвились высокие столбы огня. Мост и деревянные башни на берегу запылали, озаряя степь, волнующийся Истр и отходящие суда.

— Свобода! Свобода! — кричали на кораблях.

— Да живет царь царей! Да сгинут его враги! — отвечал Гистиэй, заглушаемый ревом пожара и ветра.

В красном зареве выступили бесчисленные полчища скифов. Передовые всадники летучими мышами устремились на огонь. Не доходя до предмостных башен, дико разбросавших космы пламени, они сбились в кучу вокруг воткнутой в землю копий.

На их торчащих остриях висело распятое тело Никодема.

III

Пока совершались события, гибла слава Дария и возносилась скифская звезда, Атосса пребывала между жизнью и смертью. Она лежала в бреду и редко приходила в сознание. Большая телега, убранный войлоком, овчинами и рысьими шкурами, влекла ее следом за удалявшейся войной. Гул победы докатывался издали, как волны прибоя. Степь ликовала. Иданфирс гнал Дария постыдно, как зайца, травимого собаками. Навстречу шли пленные. Когда Атосса пришла в себя, ей показали вереницу персов со связанными руками, с тяжелой поклажей на спине. Они громко плакали при виде своей царицы и роптали на судьбу.

Атосса смотрела на мир, как будто видела его впервые. Жизнь возвращалась медленно. Казалось, бледность, немощь и вялость останутся навсегда и этому телу уже не быть упругим, а глазам не загораться страстью. Но она не знала целительной силы степей, их густого, пьяного даже под осень воздуха, их бараньего и конского мяса. Она не знала великой силы кобыльего молока, от которого происходит скифская мощь и крепость. И она вернулась к жизни обновленная, не чувствующая своего тела.

Жила первое время, как трава, как дерево, ни о чем не думая, радуясь жизни, следя за ускорением тока крови в жилах.

Свита радовалась выздоровлению царицы, развлекала ее рассказами о предстоящей свадьбе с Иданфирсом. Это будет всенародное торжество — великий пир победы над Дарием! Ей показывали ее свадебные одежды, меха, украшения. Рассказывали о подвигах Иданфирса, о его доблести.

Но ничего не знали об Адонисе...

Он тоже сражался и совершал подвиги. Только раз прошла молва, что он смешал в чаше свою кровь с кровью Иданфирса и сделался другом царя.

Так прибыли на берег Борисфена. Он встретил плеском волны, седой, как железо. Шумевшие некогда тополя зябко дрожали, роняя желтые листья.

Война подходила к концу. На далеком Истре скифский аркан уже закинут над Дарием и, когда дерзкий завоеватель будет пойман и привязан к седлу, скифы возвратятся на Борисфен для великих торжеств. К ним готовились: разбивали палатки, сгоняли стада, собирали бурдюки с кобыльим молоком.

Поставили брачную палатку и показали ее Атоссе. В ней ничего не было, кроме ложа, но стены, покрытые материей, привезенной из Ольвии, пестрели вышитыми цветами, поднимавшимися от земли до самого купола. Глядя на эту могилу своего счастья, она раздумывала: затем ли склоняла Дария на святотатственный поход? Это ли предвидела в Пафосе?

Глубокая горечь жгла ее всякий раз при воспоминании о Пафосе. Так обманывать могут только боги... А это ложе — безрадостное, мучительное, в который раз перед нею? Где же оно, сладкое ложе настоящей любви, никогда не испытанной, ни разу не открывшейся? Молилась, сама не зная кому, чтобы дано было еще раз увидеть того, чей образ впервые предстал ей в пещере пафосского храма.

IV

В одно пасмурное утро с Истра пришла весть о гибели чудесного эллина, принесшего скифам весть о персидском нашествии и разделившего с ними все тягости похода. Народ полюбил его за благородное сердце, за необыкновенный подвиг. Хотели воздать ему небывалые почести и похоронить на Борисфене среди царских могил. Но не успел кончиться день, как по всему становью поднялся плач. На скифов обрушилось новое, еще более тяжкое горе — умер Иданфирс. Смерть ему принесли приближенные в ларце из эбенового дерева, найденного на берегу Истра среди вещей, брошенных Дарием. Царь долго любовался резьбой и украшениями, но когда снял крышку, черная змея подняла голову и укусила его в руку.

«Он упал, как дуб, и от падения его содрогнулась степь», — пели о нем слепые певцы.

Забыты были — радость победы, упоение мстью. Люди отказывались до дня похорон пить кобылье молоко и есть мясо. Разговаривали мало, никто не смеялся, а маленьких детей били, чтобы они наполняли становища плачем.

Такого царя еще никогда не хоронила скифская земля. Мы ему воздвигнем холм до небес, чтобы он виден был со всех концов степи.

Приготовления к свадебному торжеству сменились на похоронные. От самых отдаленных становий тянулись скрипучие повозки, а с Истра возвращалось войско, везя с собой тела Иданфирса и Никодема. И пока они, спеленутые, подобно младенцам, качались между двумя скакунами и мчались на берега Борисфена — здесь им готовили могилу.

Вбили в землю кол, привязали аркан и очертили ровный круг. Круг выложили большими белыми камнями. Когда он костяным ожерельем забелел среди равнины, к нему стал стекаться народ и стоял и пел всё время, пока внутри круга копали могилу. Сначала сняли слой черной, жирной земли, от которой рождается вся жизнь и всё счастье степей, потом пошел песок, бурая глина и наконец глина белая. В белой глине покоились все скифские цари и в ней же будет спать Иданфирс со своими конями, женами и рабынями. Рабыни лежали уже в палатках связанные, с заткнутыми ртами, а жены — бледные, вдохновенные — наряжались в лучшие одежды в ожидании торжественного часа.

К Атоссе пришла толпа старейшин и лучших людей. Ее просили почтить скифский народ и лечь с царем в могилу.

— Ты еще не успела стать женой Иданфирса и закон не принуждает тебя умереть с ним

вместе, но бывали примеры благочестия и со стороны невест, когда они следовали за умершими женихами. Это еще более почетно. Таких царей, как Иданфирс, не бывало и тебя ждет великая слава. Ты будешь вечно жить в сердцах скифов.

— Мне нельзя умирать, — сказала Атосса.

Она затворилась в своей полутемной брачной палатке и следила, как колебалась степь, вышитая на матерчатых стенах.

Нежной грустью первой влюбленности и первым предчувствием счастья мерцали васильки и колокольчики. Ковыль монотонными колебаниями твердил о суетности всякой любви. Он призывал к долгу, к подвигу, к суровому служению матери-степи. Но всеми лепестками тянулся к солнцу гелиотроп, готовый отдать жизнь за одну улыбку. И так победно было его влечение, что всё обыденное, с мелкой душой — пошлые кашки, сурепки и купавы, жабреи, куколи, кануперы, лютики — весь плебс степной притих и притаился в траве, уступив место алой любви гвоздик и маков, торжеству всепоглощающей страсти пионов.

А за стенами палатки громоздились тучи, придавливая отвислыми животами маленьких серых людей и лошадок к серой оскудевшей земле.

По страшному дрожанию почвы, лязгу железа, крикам и ржанию Атосса узнала о прибытии войска. Оно саранчей село на всю окрестность и старейшины стали торопиться с похоронами, боясь, как бы трава кругом не оказалась съеденной сразу и не начался падеж скота.

Поставили большую черную палатку, отнесли туда священный кремневый нож, каменный топор и веревку. Все знали, что в ней произойдет завтра, но молчали и не показывали вида. Становье притихло. Только из одного шатра неслись крики, песни, завывание костяных дудок. Это пировали верные друзья царя. Завтра им предстояло встать на вечную стражу вокруг могильного холма. Им было всё позволено в их последний день и ни одна скифская женщина или девушка не смела отказать в исполнении их желаний.

V

В тот день, когда стало известно о смерти Идан-фирса, Атосса почувствовала, как в груди у нее дрогнуло. Точно глухой, еле слышный удар в туго натянутый барабан. Приближалась разгадка ее жизни. Скоро откроется смысл путей, которыми шла, и станет ясно — заключался ли в них обман или божественное откровение? Чем ближе день похорон, тем неотвязнее роковой звук.

Кто будет тот новый скифский царь, что возьмет ее, дочь Кира, как украшение своего венца? Сколько раз уже бывала она принадлежностью трона и кто только не обладал ею? Но всё забывалось, всё прощалось ради великой минуты, которая должна настать. Царица играла в кости с судьбой. Знала, что выигрыш будет чудом, что костей, меченных ее счастьем, нет. И всё же хотела играть до последнего.

Когда пришли войска, ее охватило беспокойство. Он пришел с ними. Это она знала, и его близость сделалась для нее мучением. Зубы стучали, то ли от внутренней дрожи, то ли от холода. Над притихшим становьем загнанным конем храпел и крутил ветер; в его неистовом фыркании был смех над ее заброшенностью, над тем, что она — царица мира — попала к дикимномадам и томится от любви к грязному, звероподобному скифу.

Весь день было холодно, но к вечеру потеплело и наступило такое затишье, что можно было слышать плач ребенка в далеком становьи. Палатка озарилась. Это раздвинулись тучи на краю степи и в образовавшуюся трещину хлынула желтая, как вино, заря. Где-то щелкал бич, скрипела телега.

Тогда матерчатые стены вздрогнули. Но не от ветра.

Перед нею стоял Адонис.

Понадобилось собрать все силы, чтобы не закричать и не упасть. Сначала подумала, что ее хотят отдать новому властителю, и сделала оборонительное движение рукой, но скиф

стоял неподвижно. Та же улыбка и то же лицо, ожившее, преображенное.

К ней приближался возлюбленный Афродиты. Не камень, но горячее тело встретили ее руки, протянутые не то для защиты, не то для жадного уловления счастья. Падением в бездну были прикосновения. Нет, не обманута она в Пафосе и не ложью была Великая ночь! Благоуханный миг настал. Шла рокошущая гроза. В ее огне, в улыбке бога растаяло, растворилось тело Атоссы и она познала великую тайну соединения мужа с женой.

VI

Лежала в сладостном забытии, ни о чем не думая, но зная, что совершилось ее рождение в новую жизнь, в жизнь истинную, вечную, над которой не властны ни смерть, ни холод вселенной.

Уже давно рассвет просочился в палатку, становье наполнилось голосами, долетело варварское пение похорон. Царица ничего не замечала. Ей казалось, что она не в палатке, а в поле, степь не сожжена, но вся в цветении и над нею, как прежде, качаются колокольчики, лепечут что-то об оправдании, о том, что она жила не напрасно.

Царице чудится заглушённый крик и стон. Она знает, что это удавливают веревкой наложниц и жен царя, но ей не страшно и не жаль. Она вспоминает оттаявший мрамор, ожившую улыбку, в бездне которой так сладко было утонуть, и ей ясно, что без Него не цветут цветы и не голубеет небо. Где Он? Зачем он ее покинул? Улыбнулась себе, как ребенку, боящемуся потерять только что подаренную игрушку. Это великая неправда, что его нет! Он неразлучен с нею, иначе — всё обман, всё ложь!

Поднялась в тревоге.

Становье опустело. Народ ушел в поле. Там хоронили того, кто славой превзошел всех царей и чье имя не забудется вовеки. Хоронили и того, кто в неведомых землях за далеким Понтом родился скифом в душе, провидел великое предназначение степного народа и пришел к своим братьям в час беды.

Никодем уже лежал в могиле, но царя не было. Он совершал на похоронной колеснице последний прощальный круг по степи. А из черной палатки приносили последних рабынь и наложниц. От груды их тел по белому дну могилы паучьими лапами выступили струйки крови.

Ждали прибытия царя. Но волнение началось не с той стороны, откуда он должен был появиться. Толпа с шопотом расступилась перед Атоссой, удивленная ее устремленными в пространство торжествующими глазами.

В них трепетали отсветы костра и меди, лучились кристаллы, переливалась поверхность озер. Она прошла через сонм варваров до самой могилы и, глядя на человеческие тела и конские туши, силилась что-то понять. Поняла, вспомнила, но в лице произошло только легкое движение, как тень от облака. Что ей смерть этих чужих людей? Разве она не ограждена от страха улыбкой Того, Кто предназначен ей от века?

Отвернувшись от могилы, сделала несколько шагов по широкому кругу всадников со свесившимися головами, подпертых копьями и дубинами. Вспомнился тот вечер в степи, когда они вдвоем обходили такой же круг мертвых наездников. Припомнился тогдашний ужас. Но теперь она не боялась бледных лиц и ослабленных ртов, свежей крови, стекавшей по копьям. Сама не зная зачем, как тогда, пошла по кругу и хотела, чтобы Он был тут, рядом с нею, пусть такой же непонятный, застывший, мраморный.

И случилось непоправимое.

Ноги ее приросли к земле, а тело сковала немота. Одна половина души стала бесстрастной зрительницей и спокойно наблюдала, как другая сжалась, застонала, словно от удара ножом. С мертвого коня ей улыбался Адонис и кровь алой лентой стекала у него от виска к подбородку.

— Она улетает душою в тот мир, — шептались скифы при виде охватившего Атоссу оцепенения. Они хранили тишину до того мгновения, когда жизнь снова вернулась к ней и

она двинулась прочь от могилы.

Теперь глаза ее, погасившие свои огни, походили на иступленные глаза халдеев, что совершали на Истре плач о Фамузе.

Плачут травы полей окрест, плачут каробы,
Плачет вокруг них чаща лесная.
О муже решений, который не возвращается,
О лучезарном друге Иштар печалится степной шалаш:
О жестоком, который не возвращается.

Показалась похоронная колесница. Ей предшествовали конские табуны, стада быков и баранов, принадлежавших Иданфирсу, а также его рабы. Надрывный плач смешивался со звоном металла. Звонили колокола, терявшиеся в золотой бахrome и жолудях, окаймлявших яркий балдахин, простертый над повозкой. Колокола висели также на резных столбах, поддерживавших балдахин, и на сверкавших золотом пополах и сбруе восьми коней, запряженных в колесницу. Когда гремющая храмина приблизилась к могиле, увидели шедших за гробом окровавленных людей с растрепанными волосами и дико блуждавшим взором. От ножевых ран, нанесенных себе в пути, некоторые истекали кровью. Их приходилось вести под руки. Другие испускали вопли такого отчаяния, что молодым скифам, впервые видевшим похороны, не верилось, будто это наемные плакальщики. Только родственники Иданфирса были печально молчаливы. Они несли его заморские вазы, наполненные вином, кумысом, оливковым маслом. Несли медные котлы с пищей для покойника, предметы вооружения и домашней утвари. Ни один царь не уносил с собою столько в загробную жизнь. Лежавшему в гробу Иданфирсу сказали:

— Аказий, конь твой, с тобой! Никодем, друг твой, с тобой. Матраха, жена твоя, с тобой! Айна, жена твоя, и Гипероха, жена твоя, — тоже с тобой!

Назвали по имени всех друзей, вставших на стражу вокруг кургана, перечислили рабов и коней, положенных в могилу.

Когда гроб с вырезанными на нем крылатыми, когтистыми зверями стали спускать в землю на веревках из конского волоса, несколько человек зарезалось на краю ямы.

Потом стенания разом смолкли, толпа отодвинулась и старейший из скифов, выйдя на середину круга, заявил, что царь не умер. Все стоявшие поблизости подходили к яме и, заглянув в нее, подтверждали, что царь в самом деле не умер: он спит под своим сверкающим пологом. Одни уверяли, будто грудь его вздымается от дыхания, другие замечали румянец на щеках. Хотя от Никодема и от Иданфирса исходил сильный запах тления, скифы изошрялись во лжи, приводя новые доказательства того, что Иданфирс жив.

Он не умер, он живой уходит от нас! Прощай, Иданфирс!

Колесницу, на которой привезено было тело, разломали на мелкие куски и разбросали вокруг могилы. Знатных стали угощать вином, а простой народ кобыльим молоком. Люди пили и громко хвалили Иданфирса и Никодема.

Когда настало время закрывать яму, в толпе произошло замешательство. Кто-то с шумом продирался сквозь толщу и кричал, нарушая торжественность похорон. Перед могилой очутился красный от волнения и поспешной ходьбы человек. Он, захлебываясь, проговорил несколько слов, от которых по толпе пошел громкий говор и радостные возгласы.

Царица почтила скифский народ. Она согласилась лечь в могилу с Иданфирсом.

VII

В ее честь сделали на рукоятке царского топора новое золотое клеймо, увековечившее ее имя. Принесли лучших бобров, самые дорогие ожерелья, браслеты и в то время, как знатнейшие жены облачали ее в меха и в золото, девушки пели свадебные песни. Потом всем

народом свели на ближайший курган перед лицо Великой Матери. Там, на самой вершине, над старшним скифским простором чернел врезанный в небе бесформенный идол с едва обозначенной головой. Только большие груди да тяжелый, отвисший до земли живот выпирали и блестели от прикосновений скифских женщин.

Атоссе знакома была эта расплзающаяся к основанию масса, эта черная глыба без лица — изначальный, предвечный, благой и карающий конус. Она простерлась ниц и облобызала холодный камень.

Оттуда начался последний путь к палатке смерти.

Не доходя сотни шагов, народ остановился, простился с царицей и послал с нею последний привет Иданфирсу.

Одинокая, подошла она к тяжелой занавеси, закрывавшей вход. Там было молчание подземелья, ночь без звезд, пространство без предела, время без конца и начала, вечность... Всю жизнь думала о вечности и с детства знала, что это бездна, ничто. Теперь всей душой хотелось верить, что НИЧТО это КТО-ТО. Не оттуда ли пришла владычица Пафоса? Не туда ли ушел ее возлюбленный? Туда же идет она, причастившаяся высшей радости и утратившая вкус к земным плодам.

В предвечную тишину, во всемирное молчание.

Ей казалось, что кругом уже всё замерло в этом молчании, так что слышно было, как далеко в степи заржал жеребенок. Когда этот звук долетел до Атоссы, рука ее, поднятая, чтобы откинуть завесу, опустилась. Она крепко сжала себе горло и ни дрожанием плеч, ни наклоном головы не выдала закрутившегося внутри смерча.

Стояла перед палаткой так долго, что вся бесчисленная толпа затаила дыхание. Каждый осязал непомерную тяжесть, навалившуюся на царицу.

Но вот она взялась за край завесы, перешагнула порог палатки, скрылась в ее тьме. Скрылась от веселого дня, от света, от жизни.

И это был первый круг ее блаженства.

Никто из стоявших снаружи не видел, как поклонилась ей в ноги костлявая, безобразная старуха, как обвила вокруг шеи веревку, пропитанную потом и кровью, и, как, прокричав страшное заклятье, ударила ее кремневым ножом в ребра, в то время как два скифа тянули за концы веревки. Не видели жалобно раскрывшегося рта, рук, спохватившихся сделать что-то последнее и самое нужное, глаз, узревших в коротком, как вспышка, мгновеньи всю свою прежнюю жизнь. И некому было поведать истину, что открылась ей в тот миг. К ней приближалось что-то в грозе и молниях. Возник гул пафосской бездны...

И это был второй круг ее блаженства.

Путь к могиле был короток и великолепен. Варвары воздавали ей царские почести, но хоронили, как невесту: положили на отдельное ложе, огражденное мечами, дали в правую руку мак, чтобы она забыла об этом мире, чтобы он не снился ей. А в левую положили тонкую ветку лозы, чтобы из всего, что есть на земле, вспоминала только любовь.

Ее опустили в белую глину, положили головой к сидящему на коне Адонису.

И это был третий круг ее блаженства.

А потом яму закрыли бревнами, завалили глиной и стали насыпать холм. Каждый воин должен был на щите принести черной степной земли во славу погребенных героев. Десятки тысяч людей устремились со всех сторон с торжественными ношами. Несли все, от самых знатных до самых простых. Даже дети спешили хоть горсть бросить на великую могилу.

Земля сыпалась каскадами и скоро к небесам вознесся памятником вечной славы черный, конусообразный, как пафосский бэтил, курган, схоронив под собой Атоссу, дочь Кира, супругу Дария, царицу персидскую.